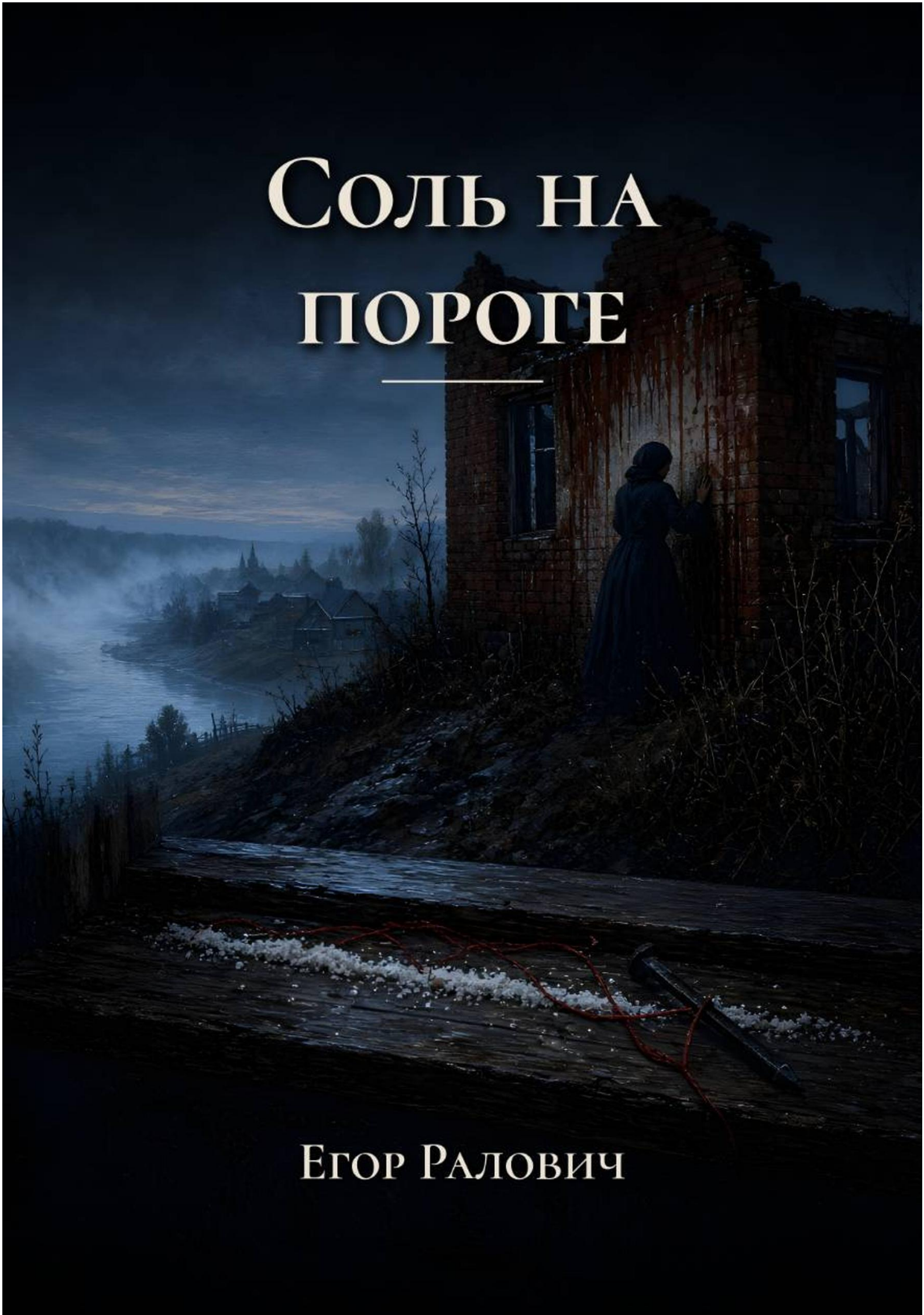

Соль на пороге
Егор Ралович

Егор Ралович

Соль на пороге

«Автор»
2026

Ралович Е.

Соль на пороге / Е. Ралович — «Автор», 2026

Евдокия Ремезова лечит дома. От ссоры в доме идут трещины, от лжи заедают двери, от горя печь перестаёт тянуть. А от убийства стены потеют рыжей влагой и гвозди ржавеют за одну ночь. Вылечить дом можно только одним способом: назвать вслух то, что в нём случилось.Новый кирпичный дом на Ширяевой горке ещё не достроен, в нём никто не жил. Но болеет он убийством, и болезнь свежая. Пропал молодой рабочий со стройки, его мать получает сообщения «мам я на вахте», а прораб врёт, что парень уволился сам. Участковый Зуев не верит ни в какое домовое знахарство, но других зацепок у него нет.Чем глубже Дуня слушает дом, тем яснее понимает: под свежим бетоном лежит не одна смерть, и старое пепелище Ширяевых связано с гибелью её собственной бабки. В деревне на сто двадцать дворов все друг другу свои, и кто-то из своих очень не хочет, чтобы беду назвали вслух.

© Ралович Е., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Дом, который плачет 5
Глава 2. Ширяева горка 12
Глава 3. Кочетов 18
Глава 4. Ночёвка 24
Глава 5. Работник, который уехал 29
Глава 6. Участковый 35
Глава 7. Домовая книга 41
Глава 8. Пилорама 47
Глава 9. Чужие кирпичи 53
Глава 10. Аля 59
Конец ознакомительного фрагмента. 61

Егор Ралович
Соль на пороге

Глава 1. Дом, который плачет

Дом Лапиных плакал третий день.

Плакал он не так, как плачут люди, со всхлипами и мокрым носом, а по-домовому: тихо, из углов. По утрам Ольга Лапина находила на подоконниках лужицы, хотя окна были закрыты, батарея горячая, а на улице стояла сухая сентябрьская погода, какой в Сухой Луке не помнили лет десять. Вода выступала по стыку стены и потолка, сбегала по обоям, и обои пошли пузырями, как кожа после ожога. Кошка ушла жить в сарай. Дверь в спальню, всегда тугая, теперь закрывалась сама, с таким стуком, что в серванте звенели рюмки.

– Мы мастера вызывали, – сказала Ольга, стоя посреди кухни с полотенцем в руках, будто собиралась кого-то им отхлестать. – Из Перевалова. Он сказал, крыша сухая. Трубы сухие. Конденсат, говорит. Три тысячи взял за то, что сказал «конденсат».

– Конденсат, – согласилась Дуня, не оборачиваясь. – Только не от того.

Она стояла у печи и держала ладонь на побелке. Печь у Лапиных была старая, ещё дедовская, хотя дом давно обшили сайдингом, провели газ и поставили котёл. Печь оставили «для души», топили по праздникам. Под ладонью побелка была холодной. Не просто нетопленой, а холодной так, как бывает холоден камень в погребе.

Дуня повела рукой вниз, к поду, и нащупала трещину. Тонкую, с волос. Трещина шла от устья вверх, к трубе, и терялась под потолком.

– Давно она?

– Кто?

– Трещина.

Ольга подошла, посмотрела, нахмурилась.

– Не было её. Я на Пасху белила, не было.

– А ругаетесь давно?

Ольга молча вытерла руки о полотенце. Потом ещё раз вытерла, хотя руки были сухие.

– Это тут при чём?

– При том, что я дома лечу, а не крыши, – сказала Дуня и наконец обернулась. – Ты меня позвала, Оля. Не я пришла. Хочешь, иди опять за перваловским мастером. Он тебе ещё за три тысячи скажет «вентиляция».

Ольга Лапина была на четыре года старше Дуни, когда-то они вместе бегали на реку, вместе таскали из колхозного сада зелёные яблоки и вместе получали за это от Матрёны крапивой по ногам. Потом Ольга вышла за Петра Лапина, родила двоих мальчишек, раздалась, отрастила характер и голос, которым можно было останавливать коров. Дуня осталась тем, кем осталась: внучкой Матрёны, бабкиной наследницей, «той самой Ремезовой», к которой ходили, когда больше идти было некуда.

– Неделю, – сказала Ольга.

– Из-за чего?

– А тебе какое дело?

– Мне никакого. Дому есть дело.

Дуня отошла от печи и медленно двинулась вдоль стены, к двери в спальню. Она не смотрела на стену, смотрела под ноги, на половицы. Половицы у Лапиных были крашеные, рыжие, под лаком, и в одном месте, у самого порога спальни, лак потрескался мелкой сеточкой, как старая чашка.

Дуня опустилась на корточки, положила на сеточку ладонь, а потом, не стесняясь, легла на пол щекой.

– Евдокия, – сказала Ольга сверху совсем другим голосом. – Ты чего?

– Тише.

Дом гудел. Это был не звук, его нельзя было услышать ухом, как слышат холодильник или машину на дороге. Это было похоже на то, как гудит натянутая верёвка, если взяться за неё рукой: дрожь, которая идёт не в уши, а в кости. Бабка называла это «дом поёт». Дома пели всегда, даже здоровые, только здоровые пели ровно, на одной ноте, как пчёлы в улье. А этот дом пел рвано. Нота обрывалась, срывалась вверх, падала. Так дышит человек, который долго держит слёзы.

И ещё было слово. Слова Дуня слышала редко, может быть, раз в год, и никогда не была уверена, что не придумывает их сама. Но сейчас оно было, короткое и злое, как пощёчина, и повторялось, повторялось у самого порога, словно кто-то ходил тут взад и вперёд и бормотал его себе под нос.

Дуня поднялась, отряхнула колени.

– Петя где?

– На работе. В Перевалове. Он теперь там ночует, у брата.

– Звони ему. Пусть едет.

– Не поедет он.

– Тогда пусть дом у вас дальше плачет. Скоро полы поведёт, потом печь сядет. Котёл у вас газовый, ему всё равно, а печь сядет, и трубу на крыше повалит. Зимой. С ветром.

– Ты пугаешь.

– Я никогда не пугаю, – сказала Дуня. – Ты меня с детства знаешь.

Ольга постояла, глядя на неё, потом бросила полотенце на стол и пошла в сени звонить. Дуня слышала через дверь, как она сначала говорит тихо, потом громче, потом совсем громко, потом опять тихо, и под конец что-то вроде «ну и пожалуйста». Хлопнула дверь сеней. Ольга вернулась красная.

– Через час будет. Сказал, только ради детей.

– Ради детей и надо, – сказала Дуня. – Чаю нальёшь?

Пока ждали, Дуня сидела у окна, пила крепкий, почти чёрный чай с чабрецом и смотрела, как по стеклу снаружи ползёт поздняя муха. Ольга гремела посудой. Мальчишки были в школе, в Перевалове, их возил автобус, и в доме стояла та особенная тишина, какая бывает только днём в деревенском доме, когда все ушли, а часы ещё тикают.

Часы у Лапиных висели над столом, круглые, с кукушкой, которая давно не куковала. Дуня послушала их. Шли ровно. Это было хорошо. Когда в доме случалось настоящее, тяжёлое, часы первыми сбивались, отставали, спешили, а иногда и вовсе шли назад. Бабка учила: «Глянь на часы, Дуняша, раньше, чем на людей. Люди соврут, часы нет».

– Ты сама-то как? – спросила вдруг Ольга, не оборачиваясь от раковины.

– Хорошо.

– Одна всё?

– Одна.

– Тебе тридцать семь лет, Евдокия.

– Я помню.

– Помнит она. – Ольга поставила тарелку на сушилку с таким стуком, что тарелка чудом уцелела. – Вон Антон этот, участковый, ходит один. Нормальный мужик. Непьющий. Варвара говорит, ты ему в июле в доме полы слушала.

– Не полы, а сени. У него в сенях мыши от страха.

– От какого страха?

– От его страха. Он один в чужом доме живёт, вот дом и боится вместе с ним. – Дуня отпила чаю. – Ты мне сейчас сватов не сватай, Оля. Я тебе дом лечить пришла.

– А я чего? Я ничего.

Петр Лапин приехал через час с четвертью. Он был высокий, сутулый, с длинными руками, которыми не знал, что делать, и сразу сунул их в карманы куртки. В дом вошёл боком, как чужой. Кивнул Дуне. На жену не посмотрел.

– Ну, – сказал он. – Приехал.

– Садись, – сказала Дуня. – Вот сюда. А ты, Оля, вот сюда.

Она развела их по разные стороны стола, а сама встала у печи. Достала из кармана куртки холщовый мешочек, развязала. Внутри была соль, крупная, серая, четверговая. Бабка солила её в Чистый четверг на рассвете, в чугунной сковороде, с травами, которые Дуня до сих пор не все умела назвать. Дуня делала так же, и всё равно её соль выходила не такой, как бабкина. Светлее. Мягче.

Она насыпала щепоть на ладонь и провела рукой над трещиной в печи, не касаясь.

– Значит, так, – сказала она. – Я вам сейчас ничего не сделаю. И никто вам не сделает. Ни я, ни перваловский мастер, ни поп из Покровки. Дом болеет тем, что в нём случилось, и вылечить его можно, только если то, что случилось, сказать вслух. Целиком. Не «поругались», а то, что было сказано. Прямо тут, у порога спальни, где было.

– Ты откуда знаешь, где было? – спросил Пётр.

– Оттуда, – сказала Дуня. – Ну?

Они молчали. Ольга смотрела в окно. Пётр смотрел в стол. Дуня ждала. Она умела ждать, это было главное в ремесле, может быть, даже главнее соли. Люди всегда сначала молчат. Потом начинают говорить не то. Потом говорят то.

– Она меня, – начал Пётр.

– Не ей, – сказала Дуня. – Дому.

– Чего?

– Дому говори. Ты не ей жалуешься. Ты дому рассказываешь, что в нём было.

Пётр поднял на неё глаза, как на сумасшедшую. Потом посмотрел на стену. Потом на дверь в спальню. Кашлянул.

– Я деньги взял, – сказал он, обращаясь к двери, глухо и неловко, словно разговаривал с начальством. – Которые на машину копили. Сорок тысяч. Брату дал, у него сын в аварию попал, там надо было срочно. Я не сказал. Думал, верну до Нового года, она и не узнает.

– А она узнала, – сказала Дуня.

– Узнала. Полезла в коробку зачем-то. И давай. – Он мотнул головой. – Вот тут встала и давай. Что я вор, что я её детей обворовал, что я всю жизнь на свою родню работаю, а на неё нет. Ну я тоже. Не сдержался.

– Что сказал?

Пётр помолчал.

– Сказал, что лучше бы на другой женился. На Таньке Колесовой.

Ольга у окна выдохнула так, словно её ударили под рёбра. Дом под ногами у Дуни коротко дрогнул, она это почувствовала подошвами, и где-то в спальне сама собой скрипнула дверца шкафа.

– Оля, – сказала Дуня. – Теперь ты.

– А чего я? Он всё сказал.

– Ты тоже говорила. Я слышала.

– Что ты слышала? – Ольга обернулась, и глаза у неё были мокрые и злые. – Что ты там слышала, на полу своём?

– Слово, – сказала Дуня. – Одно. Скажи его. Дому.

Ольга открыла рот, закрыла, и вдруг, к удивлению самой Дуни, заплакала. Не по-бабьи, с причитаниями, а тихо, совсем как её дом: слёзы просто текли по щекам, а лицо оставалось неподвижным.

– Я сказала, что он не мужик, – выговорила она. – Что отец его не мужик был и он такой же. Что я его… – она запнулась, – что я его никогда не любила, а вышла, потому что больше никто не звал.

В печи громко, отчётливо треснуло, и Пётр вскочил. Дуня даже не вздрогнула. Она видела, как трещина на побелке медленно, будто нехотя, наливается тёмным, а потом бледнеет. Так бледнеет синяк, когда на него положат холод.

– Сядь, Петя.

Он сел.

– Правда это? – спросила Дуня у Ольги. – Что не любила?

– Нет, – прошептала Ольга. – Не правда. Я со зла.

– Тогда скажи и это.

– Не правда, – сказала Ольга в сторону двери, громче. – Я со зла. Я любила. Я и сейчас.

Она не договорила, махнула рукой и опять отвернулась к окну. Пётр сидел за столом, сгорбившись, и смотрел на свои длинные руки. Дуня высыпала соль с ладони на порог спальни тонкой полоской, от косяка до косяка. Потом достала из другого кармана маленькую бутылочку с водой, набранной на рассвете с её собственного порога, и окропила соль. Соль потемнела и осела.

– Всё, – сказала она. – Остальное сами. Вечером печь затопите, хоть немного, хоть газетами. Пусть погреется. Окна не открывайте до утра. И не ночуй ты больше у брата, Петя. Дом без хозяина не вылечится.

– А деньги? – спросил Пётр и тут же сам смутился.

– А деньги – не моё дело, – сказала Дуня, застёгивая куртку. – Мне за деньги не платят. Мне платят за дом.

Ольга сунула ей в руку пакет: банка мёда, кусок сала, пачка индийского чая. Так было заведено. Знахарке денег не дают, знахарке дают то, что в доме есть. Бабка говорила, что деньги лечение портят, потому что деньги ничьи, а мёд хозяйский.

Дуня вышла на крыльцо. Солнце уже клонилось к реке, и над Сухой Лукой стоял тот золотой, прозрачный вечерний свет, который бывает только в конце сентября, когда берёзы ещё не облетели, а осины уже красные. Улица шла под горку, к магазину, мимо клуба и мимо старой колхозной конторы с выбитыми окнами. За конторой, на холме над рекой, торчал серый кирпичный короб недостроя.

Ширяева горка.

Дуня отвела глаза. Привычка была старая, ещё с детства. Бабка не велела ходить на горку, не велела даже смотреть туда долго, и Дуня, хоть и не была суеверной, так и не отвыкла. Когда весной там загудели экскаваторы и пошли грузовики с кирпичом, вся деревня бегала смотреть. Дуня не пошла.

Дома у неё было прохладно и тихо. Бабкин дом стоял на краю улицы, последний перед полем, большой, рубленый, с резными наличниками, которые Дуня каждое лето подкрашивала белым. Дом был старше деревенского клуба, старше колхоза и, по бабкиным словам, старше самой Сухой Луки: его будто бы перевезли сюда по брёвнышку с прежнего места, когда деревню переносили от реки после большого половодья.

Дом пел ровно. Почти ровно. Только на крыльце, на третьей ступеньке, всегда было холодное место размером с ладонь, и в любую жару ступенька там оставалась ледяной. Дуня привыкла переступать через неё не глядя. Она не знала, откуда этот холод, и бабка, если и знала, не сказала. Бабка многого не сказала. Она умерла, когда Дуне было пятнадцать, в январе,

на этом самом крыльце, поскользнулась на наледи и ударилась головой о нижнюю ступеньку. Её нашла утром Варвара, соседка.

Дуня поставила пакет на стол, поставила чайник, села. Руки пахли солью и чужим домом. Она вымыла их над тазом, вылила воду за порог, как полагалось, и только тогда почувствовала, как устала. Лечение всегда забирало силы, даже такое, пустяковое. Бабка после трудных домов спала по двое суток.

В дверь постучали, когда за окнами совсем стемнело.

Стук был тяжёлый, неуверенный: два удара, пауза, ещё один. Так стучат мужики, которые не привыкли стучать в двери, а привыкли входить. Дуня открыла.

На крыльце стоял Степан Гуляев, прораб. Она знала его, как все в Сухой Луке знали всех: когда-то он учился в одной школе с её матерью, только на много лет позже, потом служил, потом работал в Перевалове на стройках, потом вернулся, женился, развёлся, остался с дочкой. Пил, но не запойно. Руки у него были золотые, только дрожали по утрам. Сейчас они дрожали и вечером. Он держал в них кепку и мял её.

– Евдокия Михайловна, – сказал Степан. – Здравствуй.

Её никто не называл по отчеству. Дуня насторожилась.

– Здравствуй, Степан. Заходи.

– Не, я тут. – Он оглянулся на тёмную улицу. – Дело у меня.

– Говори.

– Ты ж дома смотришь. – Он помолчал. – Глянь один.

– Чей?

Степан ответил не сразу, и по его лицу Дуня поняла раньше, чем он сказал.

– Наш. Который мы строим. На горке.

– Нет, – сказала Дуня.

– Евдокия Михайловна…

– Нет, Степан. Я туда не хожу. Ты сам знаешь.

– Знаю. – Он кивнул, словно соглашаясь, и не ушёл. – Бабка твоя не велела. Все знают. Только ты послушай сначала.

– Не буду я слушать.

– Ребята ушли, – сказал Степан быстро, словно боялся, что она закроет дверь. – Трое. Вчера. Расчёт не взяли, просто уехали. Говорят, не могут там. Спать не могут, работать не могут. Сашка Мельников, ты его знаешь, здоровый как бык, плакал, Евдокия Михайловна. При мне. Говорит, каждую ночь снится, что на него сверху падает. Плита, что ли, или потолок. И все одно видят. Все. И я.

Дуня молчала.

– Стены мокрые, – продолжал Степан. – Кирпич потеет. Не просто потеет, а рыжим. Как ржавчиной. Мы шпаклюем, а оно проступает. Гвозди ржавеют за ночь. Новые, оцинкованные, понимаешь? Вчера вбил, сегодня рыжие. Пёс мой туда не идёт. Тащу его, он воет и упирается. А заказчик говорит, всё, Гуляев, если к октябрю коробку не закроешь, ищи себе другую работу. А кто ж у меня там работать будет?

– Я не строитель.

– Да не про стройку я. – Степан вдруг поднял на неё глаза, и Дуня увидела, что он боится. Не начальника, не денег. По-настоящему боится, как боятся дети в темноте. – Дом этот… Он больной. Я ж тоже не дурак, я с бабкой твоей покойной знался. Видел, как она у Голубевых в восьмидесятых хату лечила, когда там дед повесился. Там так же было. Только там дом старый, там понятно. А этот новый. В нём никто не жил. Никто не помер. Он даже без крыши ещё. С чего ему болеть?

Дуня стояла в дверях, держась за косяк, и чувствовала под пальцами шершавое, тёплое дерево своего дома. Дом молчал. Молчал настороженно, как молчит собака, когда хозяин разговаривает с чужим.

«Не ходи на горку, Дуняша, – сказала бабка в её голове. Голос был ясный, будто бабка стояла за спиной, в сенях. – Не ходи, и не смотри туда, и соль там не трогай. Слышишь?»

– Слышу, – сказала Дуня вслух.

– Чего? – не понял Степан.

– Ничего. – Она вздохнула. – А заказчик знает, что ты ко мне пошёл?

– Он меня и послал, – сказал Степан. – Сам. Говорит, найди мне эту вашу Ремезову.

Это было странно. Приезжие в знахарок не верили. Приезжие верили в мастеров из Перевалова, в инженеров, в проверки и экспертизы. Приезжие, если и слышали про «ту самую Ремезову», смеялись. Дуня их за это не осуждала.

– Откуда он про меня знает?

– А я почём знаю. Деревня. Кто-то наболтал. – Степан опять оглянулся на улицу. – Так пойдёшь?

Дуня долго молчала. Где-то за полем, у реки, крикнула ночная птица. Ветер прошёл по яблоням, и сухой лист стукнул в окно. На крыльце под её ногой, на третьей ступеньке, холодное пятно, кажется, стало чуть больше.

Это было глупо. Ступенька не могла стать холоднее от разговора. Дуня знала, что это ей кажется, и всё равно отступила, сошла с этого места на соседнюю половицу.

– Завтра, – сказала она. – С утра. При свете. Одна поднимусь. Ты внизу подождёшь.

– Спасибо, – выдохнул Степан. – Вот спасибо, Евдокия Михайловна.

– Не благодари. Я ещё ничего не сделала. – Она помолчала. – И, Степан. Если я скажу, что лечить не берусь, ты меня больше не уговаривай. Ни ты, ни заказчик. Понял?

– Понял.

Он надел мятую кепку, кивнул и спустился с крыльца. На второй ступеньке остановился и обернулся.

– Евдокия Михайловна. А правда, что Матрёна Ильинична там соль сыпала? Тогда, после пожара?

– Не знаю, – сказала Дуня. – Мне пятнадцать было.

Это была правда только наполовину. Она помнила ту осень. Помнила, как бабка уходила в сумерках с холщовым мешком, а возвращалась за полночь, серая, будто постаревшая на десять лет, и сидела на кухне, не раздеваясь, и смотрела в печь. Помнила, как Варвара шептала матери в сенях: «На горку ходила, Лида. Опять. Третью ночь». Помнила запах гари, который неделями стоял над деревней, и то, как взрослые замолкали, когда она входила в комнату. Помнила, что бабка той осенью перестала смеяться, а в январе умерла.

Степан ушёл. Дуня закрыла дверь, заперла на щеколду, чего обычно не делала, и долго стояла в тёмных сенях, прислонившись лбом к косяку.

Дом пел. Ровно, спокойно, на одной ноте. Но под этой нотой, глубоко, ниже подпола, ниже фундамента, ниже бабкиных старых брёвен, ей послышалось что-то ещё. Будто далеко-далеко, за полем, за конторой, на холме над рекой, кто-то тянул другую ноту. Низкую. Рваную. Как плач.

Дуня оттолкнулась от косяка и пошла на кухню. Достала с верхней полки, из-за банок с вареньем, бабкину тетрадь в коленкоровой обложке, перевязанную бечёвкой. Домовую книгу. Она не открывала её года три, с тех пор как выучила почти наизусть.

Развязала бечёвку, раскрыла на середине, потом на последних страницах.

Последние страницы она так и не сумела прочитать. Там были не слова, а набор букв, ровные строчки бабкиного почерка, в которых гласные стояли на своих местах, а согласные будто перемешали ложкой. Тарабарщина. Дуня в детстве думала, что это молитвы на каком-

то старом языке. Позже решила, что это бабкины рецепты, записанные так, чтобы чужой не украл. А потом просто перестала об этом думать.

Сейчас она смотрела на эти строчки при свете лампы и вдруг заметила, что запись перед ними, последняя понятная, сделана в октябре 2004 года. И что в ней есть два слова, на которые она раньше почему-то не обращала внимания.

«Ширяева горка».

И ниже, другим нажимом, будто бабка вернулась к записи позже:

«Посолила. Не трогать. Пока не скажут».

Дуня закрыла тетрадь и долго сидела, положив на неё обе ладони, как кладут ладони на стену больного дома.

Чайник давно вскипел и выключился. За окном шумели яблони. На третьей ступеньке крыльца лежал холод, которому шёл двадцать второй год.

Глава 2. Ширяева горка

Утро выдалось туманным. Туман пришёл с реки ночью, залил низину, лёг на огороды, и когда Дуня вышла из дома, в двадцати шагах уже ничего не было видно: ни поля, ни улицы, ни соседского забора. Только мокрые яблоневые ветки выступали из белого, как руки утопленников. Дуня поморщилась от этого сравнения и тут же выкинула его из головы. Она не любила таких мыслей перед работой. Бабка говорила, что дом чует, с чем ты к нему идёшь, и если идёшь со страхом, страх в нём и найдёшь.

Она надела старую бабкину телогрейку, повязала платок, сунула в карманы мешочек с солью, бутылочку с водой, моток красной нитки, огарок свечи и кованый гвоздь, длинный, четырёхгранный, тёмный от времени. Этим гвоздём, по семейной легенде, когда-то прибили первую доску в бабкином доме. Дуня в легенду не очень верила, но гвоздь брала всегда.

Варвара Сенцова уже стояла у своей калитки, хотя было едва семь. Варвара всегда стояла у калитки. Ей было семьдесят семь лет, она была маленькая, круглая, в трёх кофтах одна на другой и в мужских резиновых сапогах, и знала обо всех в Сухой Луке больше, чем они знали сами о себе.

– На горку? – спросила она вместо приветствия.

– Откуда вы знаете?

– Степан вечером от тебя шёл. Я в окно видела. Чего ему ещё от тебя надо, как не горку? – Варвара покачала головой. – Ох, Дуня. Матрёна бы не пустила.

– Матрёны нет, тётя Варя.

– Нету, – согласилась Варвара и перекрестилась мелко, быстро. – Царствие небесное. Ты хоть Толю возьми с собой. Он тебя на машине подбросит, чего ногами-то по сырости.

– Сама дойду.

– Толя! – крикнула Варвара через плечо, не слушая. – Толь! Дуню отвези!

Из глубины двора, из-под навеса, где стояла облезлая зелёная «буханка», вышел Анатолий Сенцов. Толю в деревне звали Толя-свет, потому что он был электрик, а ещё потому, что не было в Сухой Луке дома, где бы он хоть раз не чинил проводку, не ставил счётчик, не менял пробки или не вкручивал лампочку старухе, которая сама не могла дотянуться. Ему было пятьдесят четыре, но выглядел он моложе: сухой, жилистый, с аккуратной седой бородкой и спокойными серыми глазами. Он вытирал руки ветошью.

– Здорово, Дуня, – сказал он. – Куда тебя?

– Да никуда, Толь. Мать твоя придумывает.

– На горку ей, – сказала Варвара. – Дом смотреть.

Толя перестал вытирать руки и посмотрел на Дуню внимательно, с лёгким удивлением.

– На кочетовский? Степан, что ли, позвал?

– Позвал.

– Ну дела. – Он хмыкнул. – Я там всю времянку ставил. Щит, кабель, освещение по этажам. Хороший дом будет. Крепкий. Я бы не сказал, что больной. Хотя сырой, это да, сырой. Так ведь бетон, кирпич, лето было мокрое. – Он бросил ветошь на капот. – Садись, подвезу. Мне всё равно туда, у них щит выбивает третий день, разбираться надо.

Дуня поколебалась и села. Не из-за сырости. Просто Толя был свой, почти родной: когда умерла бабка, а мать уехала в Перевалов, именно Сенцовы, Варвара и Толя, взяли пятнадцатилетнюю Дуню к себе на первые месяцы, кормили, следили, чтобы она ходила в школу, а Толя каждую неделю приходил в бабкин дом и топил печь, чтобы дом не выстыл до её возвращения. Дом бы выстыл, сказал он тогда, а выстывший дом – мёртвый дом, это любой печник знает. Дуня запомнила.

«Буханка» тряслась по разбитой дороге, мимо магазина, мимо клуба, мимо колхозной конторы. Туман понемногу редел, и на горке, когда они подъехали, его уже почти не было: холм торчал над белой рекой тумана, как остров.

Дом стоял на самом верху.

Дуня видела его раньше издалека, но вблизи он оказался больше, чем она думала. Два этажа красного кирпича, широкие проёмы будущих окон, затянутые плёнкой, бетонное крыльцо без ступеней, торчащая из стены арматура. Второй этаж был выложен не до конца, по верху стен тянулись деревянные балки перекрытия, а над ними – голое серое небо. Крыши не было. Вокруг дома валялись поддоны, мешки с цементом под брезентом, бухты кабеля, кучи песка и щебня. Чуть в стороне стоял жилой вагончик рабочих, а за домом, ближе к обрыву, виднелась полоса свежей, ещё не заросшей земли, как шрам: там, видно, недавно что-то копали и закапывали.

Степан ждал у вагончика. Рядом с ним сидел большой лохматый пёс непонятной породы, чёрный с рыжими подпалинами, и, увидев Дуню, пёс встал, вильнул хвостом и тут же опять сел, прижав уши.

– Это Пират, – сказал Степан. – Вот видишь. Ко всем идёт, а к дому ни в какую.

Толя кивнул Дуне, сказал «ну, я к щиту» и ушёл за угол, туда, где на столбе висел серый металлический ящик. Дуня проводила его взглядом и повернулась к дому.

Сначала она ничего не почувствовала. Это было обычное дело. Дома, как и люди, не любят, когда на них смотрят в упор, и в первые минуты замирают, притворяются. Дуня не торопилась. Она обошла дом по кругу, медленно, глядя не на стены, а под ноги, на землю у фундамента. Земля была глинистая, перемешанная со строительным мусором. Обломки кирпича, обрезки арматуры, окурки. У северного угла валялись битые бутылки. У восточного, со стороны реки, рос лопух, огромный, в человеческий рост, и листья у него были странного цвета: не зелёные, а бурые, будто их облили чаем.

На западной стене Дуня остановилась.

По красному кирпичу шли разводы. Не тёмные, как от дождя, а рыжеватые, с желтизной, как от ржавчины. Разводы начинались примерно на высоте человеческого роста и сбегали вниз, к цоколю, неровными дорожками, словно стена плакала.

Дуня подошла ближе и коснулась одной дорожки пальцем. Палец стал мокрым. Влага была тёплой. Дуня понюхала палец. Пахло железом. Не ржавым железом, не старым гвоздём, а другим, тем, что пахнет в мясной лавке и в сенях, когда режут поросёнка.

Она вытерла палец о телогрейку и долго стояла, не двигаясь.

– Ну? – спросил Степан из-за спины. Он подошёл неслышно.

– Внутрь пусти.

Входная дверь была временной, из досок, на навесном замке. Степан открыл. Внутри было сумрачно, свет шёл только из оконных проёмов, сквозь мутную плёнку, и с неба, через незакрытое перекрытие на втором этаже, где между балками виднелись серые полосы. Пол первого этажа был бетонный, гладкий, местами присыпанный песком. Под потолком тянулся на крюках временный кабель с лампами в решётчатых плафонах. Лампы горели вполнакала, мигали.

– Опять, – буркнул Степан. – Толя чинит, чинит.

Дуня его не слушала. Она стояла на пороге, на бетонном выступе, который потом станет настоящим порогом, и не могла сделать шаг.

Не из страха. Ноги не шли. Так бывает, когда входишь в холодную реку: тело упирается, хотя голова уже решила. Бабка говорила: «Дом тебя не пускает – значит, ему есть что прятать. Здоровый дом всегда пускает».

Она шагнула.

Её ударило сразу, без разгона, как бьёт волна. Звук, которого нельзя было услышать ушами, заполнил её всю, от пяток до макушки. Это был не плач, нет. Плач был у Лапиных, жалобный, обиженный. Здесь был крик. Высокий, режущий, непрерывный, как сирена, и в то же время детский, бессмысленный, как кричит младенец, которого только что вынули на холод. Дуня покачнулась и схватилась за стену.

Стена под ладонью была мокрой и тёплой, как кожа.

– Евдокия Михайловна!

– Не трогай меня. – Она сама удивилась, как спокойно звучит её голос. – Стой там.

Она простояла так, прижав ладонь к стене, может быть, минуту, может быть, пять. Постепенно крик стал тише, не потому, что дом успокоился, а потому, что она привыкла. Так привыкаешь к грохоту поезда, если стоишь у самых путей. Теперь она могла различать в нём оттенки. Под криком был страх, плотный, вязкий. Под страхом была боль, короткая и тупая, как удар. А под болью, на самом дне, было то, что бабка называла «последним» и о чём говорила шёпотом. Тяжесть. Темнота. Холод, который приходит снизу и поднимается, поднимается, заливает всё, и уже нельзя вдохнуть.

И ещё был запах. Настоящий, носом. Мокрый бетон. Цементная пыль. Сырость.

Дуня отняла руку от стены. Ладонь была рыжей.

Она пошла по дому. Медленно, от комнаты к комнате, хотя комнат ещё не было, были только кирпичные перегородки по пояс, разметка будущих стен. Будущая кухня, будущая гостиная, будущий кабинет. В каждом углу она останавливалась и слушала. Везде одно и то же: крик, страх, тяжесть. В будущей гостиной, у окна на реку, на подоконнике лежали гвозди, горсткой, новые, блестящие ещё вчера. Сейчас они были рыжими целиком, от шляпки до острия. Дуня тронула один, и ржавчина осыпалась ей на палец, как пыльца.

На стене кухни висели часы. Обычные дешёвые часы на батарейке, кто-то из рабочих повесил на гвоздь, чтобы знать, когда обед. Дуня посмотрела на них. Секундная стрелка дёргалась, вперёд-назад, вперёд-назад, на одном месте, словно увязла. А минутная, она смотрела на неё долго, чтобы убедиться, медленно ползла против хода.

– Это они сами, – сказал Степан из дверного проёма. Он так и не вошёл дальше порога. – Я батарейку менял. Три раза менял. Новые часы вешал. Всё одно.

– Знаю, – сказала Дуня.

– Откуда?

Она не ответила. Ей не хотелось объяснять, что часы в больном доме ведут себя так же, как сердце у испуганного человека, и что бабка научила её смотреть на них раньше, чем на стены.

В углу будущей кухни, за перегородкой по пояс, лежали на поддонах старые матрасы и скомканные спальники. Степан, перехватив её взгляд, пояснил, что ребята сначала ночевали прямо тут, в доме, пока не поставили вагончик: летом тепло, комаров меньше, чем внизу у реки. А в конце августа все до одного перебрались в вагончик и больше в дом спать не ходили.

– Почему?

– Говорю же. Сны.

Дуня подошла к матрасам. Над ними, на кирпиче, кто-то нацарапал гвоздём неровные палочки, как отмечают дни в тюрьме, а ниже, крупно, карандашом: «Не спать тут». Ещё ниже другим почерком приписано: «Мужики, кто взял мой зарядник, верните». Дуня невольно усмехнулась, и усмешка сразу погасла. Палочек было двадцать восемь. Последняя стояла чуть в стороне от остальных и была процарапана так глубоко, что кирпич под ней раскрошился.

– Кто считал?

– Да кто их знает. – Степан пожал плечами из дверного проёма. – Ромка, может. Он тут дольше всех ночевал, он у нас самый безотказный был, ему всё равно где. Потом уволился.

– Когда?

– В конце лета. Ну, Евдокия Михайловна, это ж молодёжь. Сегодня тут, завтра на вахте.

Он сказал это слишком быстро и слишком легко, и Дуня, не оборачиваясь, отметила это где-то в глубине, там, где у неё хранились все чужие оговорки. Потом она снова посмотрела на пол. Бетонный пол был ровным, только у дальней стены, там, где должна была быть лестница вниз, в подвал, зиял прямоугольный проём, огороженный доской. Из проёма тянуло холодом.

– Что там?

– Подвал. Котельная будет, кладовые. Там пока ничего. Мы плиту льём, видишь, а там отдельно, там своя плита, пониже.

Дуня подошла к проёму и заглянула. Деревянная лестница-времянка уходила вниз, в темноту. Внизу было тихо. Подозрительно тихо, если сравнивать с тем, что творилось наверху. Будто весь крик дома шёл не отовсюду, а поднимался именно оттуда, снизу, как пар из колодца, и наверху расходился по стенам, а внизу был сжат, сгущён, спрессован.

Она поставила ногу на первую ступеньку.

И не смогла. Тело отказалось, сразу и наотрез. Ноги стали ватными, в глазах потемнело, к горлу подкатила тошнота. Дуня отступила, ухватилась за доску ограждения и постояла, хватая ртом воздух.

– Плохо? – испуганно спросил Степан.

– Нормально. – Она выпрямилась. – Внизу свет есть?

– Есть. Только там выбивает. Толя говорит, сырость в щитке. И дверь в котельную на ключ, ключ у Толи. Он там разводку делает, инструмент держит.

Дуня кивнула. Спускаться сейчас она всё равно бы не смогла.

Она вернулась к выходу. На пороге остановилась и оглянулась. Лампы под потолком мигнули все разом и погасли, и в наступившем полумраке рыжие разводы на стенах казались почти чёрными.

Снаружи было светло, туман совсем ушёл, и над рекой висело бледное, словно выстиранное солнце. Дуня сошла с бетонного выступа, сделала несколько шагов по глине и только тут почувствовала, как дрожат колени. Она села на поддон с кирпичом. Пират подошёл и ткнулся носом ей в руку, обнюхал рыжую ладонь и тихо заскулил.

– Знаю, – сказала ему Дуня. – Знаю, пёсик.

К вагончику подъехала большая тёмная машина, такая, каких в Сухой Луке не было ни у кого, даже у Нины Барминой. Из машины вышел человек. Высокий, худощавый, лет пятидесяти, с коротко стриженными седыми волосами и узким, твёрдым лицом. На нём была дорогая куртка и строительные ботинки, заляпанные глиной, и Дуня почему-то сразу отметила это: человек приехал не в первый раз и по глине ходил много.

Он посмотрел на Степана, на Пирата, потом на Дуню, и в его взгляде не было той снисходительной насмешки, какую она ждала.

– Ремезова, – сказал он. Не спросил, а сказал, будто узнал. – Евдокия.

– Да.

– Кочетов. Глеб Арсеньевич. – Он не протянул руки, и Дуня оценила это: руку знахарке после работы не жмут, это все местные знали, а приезжие никогда. – Спасибо, что пришли.

– Я ещё ничего не сделала.

– Вы пришли, – сказал он. – Этого уже было трудно ждать. Мне говорили, вы на горку не ходите.

– Кто говорил?

Он чуть заметно помедлил.

– В магазине. – Он посмотрел на дом, на западную стену, на рыжие дорожки. – Ну? Что скажете? Только, пожалуйста, честно. Мне три эксперта сказали, что это высолы, что кирпич с примесью железа, что надо сушить и обрабатывать. Я обработал. Не помогает. А мои люди бегут. Я хочу знать, что это.

Дуня смотрела на него снизу вверх, сидя на поддоне, и думала, что этот человек боится не меньше Степана. Только Степан боялся, как боятся темноты, а этот – как боятся ответа, который уже знаешь.

– Вы правда хотите честно?

– Да.

Она встала, вытерла ладонь о телогрейку ещё раз, хотя рыжее уже въелось в кожу, и сказала, глядя ему в глаза:

– Этот дом болеет убийством.

Степан за её спиной охнул. Пират заскулил громче. Из-за угла, от щита, вышел Толя с отвёрткой в руке и остановился, будто услышал.

Кочетов не охнул и не засмеялся. Он стоял очень прямо и смотрел на неё, и лицо у него стало серым, как бетон.

– Давно? – спросил он тихо.

Это был не тот вопрос, которого она ждала. Приезжий должен был спросить «что за чушь», или «вы серьёзно», или «сколько стоит». Он спросил «давно». Как будто вопрос «что» для него уже решён.

– Не знаю, – сказала Дуня. – Ещё не знаю.

– Но здесь? – Он кивнул на дом. – В нём?

– В нём, – сказала Дуня. – Или под ним.

Над рекой пролетела стая галок, с криком, низко, почти задевая крыльями голые балки второго этажа. Толя подошёл ближе, сунул отвёртку в карман.

– Дуня, ты чего такое говоришь? – сказал он мягко, почти укоризненно, как говорят с ребёнком, который напугал взрослых. – Убийство. Тут же ничего, кроме стройки, не было. Двадцать лет пустырь.

– А до пустыря был дом, – сказала Дуня, не оборачиваясь. – И он сгорел. С человеком.

– Так то пожар. Несчастный случай. Дед Илья пьяный уснул с папиросой. Все знают.

– Все знают, – повторила Дуня.

Она смотрела на Кочетова. Кочетов смотрел на дом. И когда Толя сказал «дед Илья», у Кочетова чуть дрогнул угол рта. Почти незаметно. Как дрожит стрелка часов, которая хочет идти назад.

– Я подумаю, – сказала Дуня. – Возьмусь или нет. Завтра скажу.

– Возьмётесь, – сказал Кочетов, и это опять было не вопросом. – Я заплачу, сколько скажете.

– Мне не платят деньгами.

– Тогда чем?

– Тем, что в доме есть, – сказала Дуня. – А в этом доме пока ничего нет. Кроме того, о чём я сказала.

Она повернулась и пошла вниз по склону, к дороге, не дожидаясь «буханки». Через десяток шагов она всё-таки обернулась. Кочетов стоял там же, у машины, засунув руки в карманы, и смотрел ей вслед. Степан что-то говорил ему, размахивая руками. Толя стоял чуть поодаль, у щита, и тоже смотрел на неё. Потом поднял руку и помахал, мол, подожди, подвезу. Дуня мотнула головой и пошла дальше.

У подножия холма, где тропа сворачивала к реке, она остановилась. Здесь, в траве, среди камней, лежал старый, почерневший от времени брус. Обгорелый. Видимо, его вывернули экскаватором из земли, когда копали котлован, и бросили. Дуня присела рядом, положила на брус ладонь.

Брус был мёртвым. Совсем. Дерево, прошедшее через огонь, теряет голос навсегда, это она знала. Но под ним, в земле, что-то было. Не голос, а скорее его отсутствие, похожее на

пустоту, где раньше стоял зуб. Дуня разгребла пальцами землю под брусом и нащупала мелкие, твёрдые, серые зёрна, похожие на гравий.

Она поднесла их к глазам. Понюхала. Лизнула, хотя бабка за такое дала бы по губам.

Соль. Старая, слежавшаяся, почти окаменевшая. Четверговая. Бабкина.

Дуня сидела на корточках в мокрой траве у подножия Ширяевой горки, держала на ладони щепоть двадцатилетней соли и чувствовала, как дом наверху кричит. Кричит, не переставая, как младенец, которого бросили на холод.

Глава 3. Кочетов

К обеду вся Сухая Лука знала, что Ремезова сказала про горку.

Дуня поняла это, едва вошла в магазин. Магазин у Нины Барминой был один на всю деревню и потому служил ещё и почтой, и клубом по интересам, и местом, где решались все важные дела задолго до того, как о них узнавало начальство. Он помещался в длинном кирпичном доме на перекрёстке, где раньше было сельпо. Внизу торговали, наверху Нина сдавала две комнаты приезжим: рыбакам, охотникам, командированным из района. Сейчас, как Дуня знала, наверху жил Кочетов.

У прилавка стояли трое: Ольга Лапина, тихая Зинаида Мельникова, мать того самого Сашки, что плакал на стройке, и Ирка-почтальонша с сумкой через плечо. Нина Павловна сидела за кассой, прямая, в очках на цепочке, в аккуратной вязаной кофте. Ей был шестьдесят один год, она двенадцать лет была главой поселения, а до этого двадцать лет фельдшером, и держалась так, словно до сих пор могла сделать любому из присутствующих укол.

Когда Дуня вошла, разговор оборвался.

– Здравствуйте, – сказала Дуня.

– Здравствуй, Евдокия, – ответила Нина за всех. – Хлеба?

– Хлеба. И спичек.

Нина пробила хлеб, спички, отсчитала сдачу. Женщины молчали и смотрели. Дуня взяла пакет и уже повернулась к выходу, когда Зинаида Мельникова не выдержала.

– Дуня, – сказала она тонким голосом. – Это правда?

– Что правда, тётя Зина?

– Что там. На горке. Сашка мой сам не свой пришёл. Не ест, не спит. Говорит, вы сказали, что там убили кого-то.

– Я сказала, что дом болеет убийством. Это не одно и то же.

– А какая разница? – спросила Ирка-почтальонша.

Дуня подумала.

– Разница, как между простудой и человеком, который чихнул на тебя в автобусе. Простуда у тебя, а виноват он. Дом болеет тем, что с ним случилось. А что именно случилось, я пока не знаю.

– Так ведь пожар там был, – сказала Ольга. Она стояла у витрины, в той же кофте, что вчера, но лицо у неё было другое, мягче, и Дуня почему-то обрадовалась этому больше, чем чему-либо за последние дни. – Дед Ширяев сгорел. Ну вот и болеет.

– Не тот это дом, – сказала Дуня. – Тот сгорел. Этот новый.

– Всё равно место.

– Место, может, – согласилась Дуня.

– Евдокия, – сказала Нина. Сказала негромко, но так, что все повернулись. – Ты бы поосторожней с такими словами. У людей работа. Кочетов этот, может, и чудной, но платит хорошо и платит вовремя. Шесть человек из деревни у него работали. Теперь трое. Если ещё ты его пугать начнёшь, он вообще всё бросит, и останется у нас на горке ещё одна коробка без крыши. Как контора.

– Я его не пугаю, Нина Павловна. Он сам меня позвал.

– Позвал, – повторила Нина. – И ты пошла. Матрёна, помнится, туда никого не пускала.

– Матрёна умерла.

– Двадцать два года уж скоро как, – сказала Нина. – А ты всё на неё оглядываешься. Ну и оглядывайся. Только старое не вороши. Нечего там ворошить. Пожар как пожар, комиссия была, всё записано.

– А до пожара?

Нина сняла очки, повесила их на цепочку, посмотрела на Дуню без них. Глаза у неё были светлые, водянистые, внимательные.

– А до пожара, Евдокия, весна была, и девочка утонула. Тоже записано. И тоже не ворошить. Хватит в этой деревне покойников ворошить.

Она надела очки обратно и повернулась к Зинаиде.

– Тебе чего, Зина? Масла?

Дуня вышла. На крыльце магазина она постояла, глядя на перекрёсток, на автобусную остановку с облупленной синей крышей, на рыжую собаку, которая спала прямо на дороге. Потом обошла дом и поднялась по наружной деревянной лестнице на второй этаж.

Кочетов открыл сразу, будто ждал за дверью.

Комната была маленькая, бедная, с железной кроватью, столом, двумя стульями и шкафом, который не закрывался. На столе лежал раскрытый ноутбук, рядом стопка бумаг, чертежи, кружка с остывшим кофе. Пахло табаком, хотя Кочетов, насколько Дуня видела, не курил. Пахло, видно, от прежних жильцов.

– Проходите, – сказал он. – Садитесь. Чаю? Кофе у меня только растворимый, плохой.

– Ничего не надо.

Она села на стул у двери. Он сел на кровать, напротив, сцепил на коленях руки. Руки у него были большие, с коротко остриженными ногтями, на правой не хватало фаланги мизинца.

– Я решила, – сказала Дуня. – Возьмусь. Но на условиях.

– Слушаю.

– Первое. Я делаю в доме всё, что считаю нужным. Ночую, если надо. Копаю, если надо. Ваши люди мне не мешают и не спорят. Даже если вам покажется, что я делаю глупость.

– Согласен.

– Второе. Я буду задавать вопросы. Вам, Степану, всем. Вы отвечаете правду. Если не хотите отвечать, говорите «не хочу». Но не врёте. Врать мне нельзя. Ложь в больном доме – как грязь в ране. Я её чувствую, и лечить становится труднее.

Кочетов помолчал.

– Согласен, – сказал он наконец. – С одной оговоркой. Есть вещи, на которые я сейчас «не хочу». Может быть, потом.

– Это ваше право. – Дуня кивнула. – Третье. Если я скажу, что дом нужно разобрать, вы его разберёте.

Он вскинул на неё глаза.

– Вы серьёзно?

– Серьёзно. Бывает, что дом не лечится. Тогда его разбирают по брёвнышку и сжигают, а на месте сыплют соль. Бабка один раз так делала, ещё до моего рождения. В Покровке. Там мужик семью вырезал. Никто в том доме жить не мог.

– Этот дом стоит мне одиннадцать миллионов, – сказал Кочетов ровно.

– Я знаю, что дорого.

– Нет, вы не знаете. – Он вдруг улыбнулся, впервые, коротко и некрасиво, одной стороной рта. – Хорошо. Если скажете, разберу. Но сначала попробуйте вылечить.

– Попробую.

Они помолчали. За окном по дороге проехал трактор, стёкла задребезжали.

– Можно я теперь спрошу? – сказала Дуня.

– Конечно.

– Почему вы купили этот участок?

– Вид, – сказал Кочетов, не задумываясь. – С горки видно реку до самого поворота. И лес на том берегу. Таких мест в области почти не осталось. И дёшево. Земля поселковая, никто её двадцать лет не брал. Нина Павловна, по-моему, была счастлива от неё избавиться.

Это было похоже на правду, и Дуня кивнула. Она слушала не слова, она слушала его самого. С людьми у неё получалось хуже, чем с домами, но кое-что она всё-таки умела. Когда человек врёт, у него внутри будто дверь заедает: голос идёт ровно, а под ним что-то скрипит. У Кочетова не скрипело. Но и открыто не было. Он говорил правду, только не всю.

– Вы знали, что там был пожар?

– Знал.

– От кого?

– От Нины Павловны. Она мне показала документы, когда оформляли. Там было написано: участок после пожара, строение утрачено, собственник умер, наследников, заявивших права, нет.

– Наследников нет, – повторила Дуня. – А вы знаете, кто там жил?

– Ширяев Илья Матвеевич. – Он произнёс это полностью, с отчеством, без запинки, и тут же, будто спохватившись, добавил: – Так в бумагах.

– А что у него была внучка, знаете?

Кочетов не ответил сразу. Он смотрел в окно, на перекрёсток, на синюю крышу остановки.

– Слышал, – сказал он. – Что утонула.

– От кого слышали?

– Это одно из «не хочу», – сказал Кочетов.

Дуня встала.

– Хорошо. Сегодня я туда не пойду, мне надо отлежаться. Завтра к вечеру приду и останусь на ночь. Одна. Степану скажите, чтобы ушёл до темноты и пса увёл.

– А вы не боитесь? Одна?

– Боюсь, – честно сказала Дуня. – Только это не важно.

Она уже взялась за ручку двери, когда он спросил:

– Евдокия. Вы сказали «в нём или под ним». Что вы имели в виду?

Дуня обернулась.

– То и имела. Недостроенный дом, Глеб Арсеньевич, как младенец в утробе. Он болеет не тем, что в нём было, в нём ещё ничего не было. Он болеет тем, что в него положили. Из чего его сложили, на чём поставили. Если кирпич взяли с пожарища, он будет болеть пожаром. Если доски с гроба, будет болеть гробом. Если фундамент заложили на могиле…

Она не договорила. Он и так понял.

– Вы думаете, там могила?

– Я пока ничего не думаю. Я слушаю.

Она вышла и закрыла за собой дверь.

У магазина стояла зелёная «буханка». Толя сидел за рулём, курил в открытое окно и, увидев Дуню, выбросил окурок и махнул.

– Садись, довезу.

– Толя, ты меня что, пасёшь?

– Да я за проводом заезжал, у Нины в подсобке бухта лежит. – Он кивнул на кузов, где правда что-то лежало под брезентом. – Садись, говорю, не стой.

Она села. «Буханка» тронулась, заскрипела, затряслась.

– Ну что, взялась? – спросил Толя, не глядя на неё.

– Взялась.

– Я так и думал. Ты упрямая, вся в бабку. – Он помолчал. – Дуня. Ты не обижайся, что я скажу.

– Говори.

– Ты там вчера при Кочетове про убийство. Я понимаю, ты дома чувствуешь. Я сам видел, как Матрёна Ильинична чудеса делала. Но ты подумай, как оно со стороны. Человек

деньги вложил, строит, люди бегут, а тут ещё ты. Нина вон уже злится. Если он стройку бросит, деревне хуже.

– Ты тоже думаешь, что я людей пугаю?

– Я думаю, ты дом слышишь, а людей не всегда, – сказал Толя мягко. – Там сырость, Дуня. Я в щитке каждое утро воду вытираю. Это лето было такое, бетон не высох, кирпич мокрый. И место нехорошее, я спорить не буду. Пожар был. Дед сгорел. Конечно, всем там жутко. Вот и снится.

– А гвозди?

– Гвозди дешёвые. Китайские. Цинк на них тоньше бумаги.

– А часы?

Толя засмеялся.

– А часы я тебе сам почищу. Там магнит рядом, щит, кабель силовой. Они от наводки сбиваются. Я Степану сто раз говорил, перевесь, он не слушает.

Дуня смотрела в окно, на уплывающие назад палисадники, на рябины, усыпанные ягодами так густо, что ветки гнулись.

– Может быть, – сказала она. – Может быть, ты и прав.

– Да ты не слушай меня, – сказал Толя. – Я ж электрик. Мне всё одно: что не горит, то контакт. – Он улыбнулся в бороду. – Делай как знаешь. Если надо куда отвезти, говори. Мне не трудно.

– Спасибо, Толь.

Он высадил её у калитки и уехал к себе, в соседний двор. Дуня видела через забор, как он открывает ворота, как загоняет «буханку» под навес, как Варвара выходит на крыльцо и что-то ему говорит, а он смеётся и машет рукой.

Вечером Дуня всё-таки зашла к Варваре.

Она не собиралась, но чай одной пить не хотелось, а у Варвары всегда было что-нибудь к чаю: пироги, ватрушки, варенье из крыжовника, которое она варила по какому-то особенному рецепту, с вишнёвым листом. Дом у Сенцовых был ниже и теснее бабкиного, но светлый, весь в половиках, вышитых салфетках и фотографиях в рамках. Толя жил с матерью уже двадцать лет, с тех пор как от него ушла жена Галина, и Дуня знала этот дом почти так же хорошо, как свой.

Дом пел ровно. Почти. В сенях у Сенцовых всегда, сколько Дуня себя помнила, была тихая, еле заметная сырость, с которой Варвара воевала то хлоркой, то солью, то ладаном. Сырость пахла грибами. Дуня когда-то, ещё подростком, спросила бабку, отчего у тёти Вари в сенях сыро, а бабка помолчала и сказала: «От слёз, Дуняша. От старых слёз». И больше ничего не сказала.

Толи дома не было. Варвара сказала, уехал к кому-то в Покровку менять счётчик и вернётся поздно.

– Ну? – спросила Варвара, едва Дуня села за стол. – Чего там?

– Плохо там, тётя Варя.

– Знаю, что плохо. Чего видела?

Дуня рассказала. Не всё, но многое. Про рыжие стены, про часы, про крик. Про соль у подножия горки не сказала. Варвара слушала, подперев щёку рукой, и молчала, только иногда качала головой и вздыхала.

– Расскажите мне про Ширяевых, – попросила Дуня, когда закончила.

– А чего рассказывать? Ты и сама помнишь.

– Мне пятнадцать было. Я помню, что дед Илья был сердитый и что у него собака злая была. И что Аля… – Дуня запнулась. – Аля на два года старше меня была. Мы почти не дружили. Она с городскими водилась, с дачниками. Красивая была.

– Красивая, – вздохнула Варвара. – Ох, красивая. Вся в мать. Вера-то, мать её, тоже красавица была. Илья её одну вырастил, жена у него рано померла. А Вера в город уехала учиться, там замуж вышла, сына родила. Потом развелась, сына муж себе оставил, а она вернулась к отцу. Ну и потом Алю родила, неизвестно от кого. Говорили, от командированного какого-то. А в девяносто пятом Вера померла. Сердце. Молодая совсем, сорока пяти не было. И остались дед с внучкой.

– А сын? Верин сын?

– А сына отец увёз, ещё маленьким. Он сюда приезжал, помню, пару раз, мальчишкой. Худенький такой, тихий. На речку ходил, рыбу ловил. А потом не приезжал. Взрослый уже, наверно. Сейчас ему, поди, лет пятьдесят.

– Как его звали?

Варвара наморщила лоб.

– Не помню, Дуня. Вот хоть убей. Помню, Вера его как-то ласково звала, а как, не помню. Старая я. – Она махнула рукой. – Да и какая разница. Он и на похороны к деду не приезжал. Ни к Але, ни к деду. Чужой он им был.

– А Аля как утонула?

Варвара отодвинула чашку.

– В мае. Перед самыми экзаменами. Вечером ушла из дому, сказала деду, что к подружке, а сама не пришла. Искали её всем селом. Утром Нина нашла на берегу у Чёрного омута туфлю её, красную. Ну и решили, что пошла купаться, а там омут, там вода холодная, ключи бьют. Судорогой схватило – и всё. Водолазов из района вызывали, три дня ныряли, ничего не нашли. Омут глубокий, там под берегом ямы. Ну и записали: утонула.

– А дед?

– А дед не поверил. – Варвара вздохнула тяжело, всей грудью. – Ой, Дуня, что с ним было. Ходил по деревне, как пьяный, хоть и не пил. Ко всем в двери стучал. Кричал, что убили её. Что знает, кто. Что найдёт. В район ездил, в милицию, писал куда-то. А потом осенью, в октябре, дом и сгорел. И он в нём. Говорили, запил с горя, уснул с папиросой.

– А вы что думаете?

Варвара посмотрела на неё долгим взглядом. В доме было тихо. Часы на стене, старые, с гирями, шли мерно и громко. Где-то в сенях капало.

– Я думаю, Дуня, что старое не надо трогать, – сказала она наконец. – Тут Нина права. Что было, то сгорело. Ни Али не вернёшь, ни Ильи, ни Матрёны.

– А при чём тут бабушка?

Варвара вздрогнула, будто сказала лишнее, и потянулась за чайником.

– Ни при чём. Это я так, к слову. Все померли, вот и Матрёну вспомнила. Тебе подлить?

– Тётя Варя.

– Подлить, говорю?

Дуня подставила чашку. Варвара налила, рука у неё чуть дрожала, и несколько капель пролилось на клеёнку. Она сразу затёрла их краем фартука.

– Матрёна туда ходила после пожара, – сказала Дуня тихо. – На горку. Я помню. Вы маме говорили в сенях. Третью ночь, говорили.

– Ходила, – сказала Варвара, не поднимая глаз. – Мало ли куда она ходила. Она по всем домам ходила.

– Зачем?

– Не знаю я, Дуня. Вот правду говорю, не знаю. Она мне не сказала. Она мне ничего не сказала, – Варвара подняла голову, и в глазах у неё вдруг блеснули слёзы. – Мы с ней сорок лет дружили. А она мне ничего не сказала. Пришла один раз, зимой уже, перед самым Новым годом, села вот тут, где ты сидишь, и смотрит. Долго так смотрит. А потом говорит: «Варя, ты

меня прости». Я говорю: «За что?» А она: «Потом узнаешь». И ушла. А через три недели я её у крыльца нашла.

Варвара заплакала. Тихо, по-старушечьи, вытирая глаза краем фартука. Дуня встала, обошла стол и обняла её, маленькую, круглую, пахнущую тестом и корвалолом.

– Ну всё, всё, тётя Варя.

– Не ходи ты туда, Дуня, – сказала Варвара ей в плечо. – Христом богом прошу. Не ходи.

– Мне надо.

– Ничего тебе не надо. Ты молодая. Замуж выйди. Детей роди. Брось ты это всё. Брось.

Дуня гладила её по спине и молчала. В сенях капало. Медленно, ровно, как часы.

Домой она вернулась затемно. Постояла у калитки, глядя на свой дом, на тёмные окна, на белые наличники, которые в сумерках казались кружевными. Над крышей горела одна звезда, низкая и яркая.

Поднимаясь на крыльцо, она привычно перешагнула через третью ступеньку. Потом остановилась, вернулась на шаг назад и, сама не зная зачем, наступила на холодное место всей ступнёй.

Холод прошёл сквозь подошву, сквозь шерстяной носок, сквозь кожу, и поднялся по ноге до колена. Это был не просто холод, как от камня. Это было похоже на то, что она чувствовала сегодня в доме на горке, на самом дне, под криком и болью. Тяжесть. Темнота. И холод снизу, который поднимается и поднимается.

Дуня отдёрнула ногу и долго стояла на верхней ступеньке, держась за перила, пока сердце не перестало колотиться.

Глава 4. Ночёвка

Перед ночёвкой бабка всегда постилась. Не по церковному, а по-своему: целый день ничего, кроме воды и хлеба, и ни с кем не разговаривала после полудня. Говорила, что пустому человеку легче впустить в себя чужое, а сытый и болтливый дом не услышит, только себя.

Дуня так и сделала. С утра выпила кружку воды, съела горбушку, вымыла полы во всём доме, перебрала бабкины мешочки с травами, наточила нож, которым режут хлеб для дома. Нож тоже был особенный, с деревянной ручкой, обмотанной красной ниткой. Бабка говорила, что хлеб для больного дома надо резать только им, а то дом обидится. Дуня никогда не проверяла, обидится ли.

К пяти часам она собрала сумку: старое ватное одеяло, свечи, спички, соль, воду с порога, краюху хлеба, нож, гвоздь, моток нитки, фонарик. Подумав, положила ещё термос с чаем, хотя пить его не собиралась. Просто с термосом было не так одиноко.

Варвара стояла у калитки. Конечно.

– Пошла, значит.

– Пошла, тётя Варя.

– Ох, Дуня. – Варвара перекрестила её, мелко, быстро, трижды. – Толя тебя довезёт.

– Не надо Толю. Я сама.

– Темно же будет.

– До темноты дойду.

Варвара больше не спорила, только стояла и смотрела ей вслед, пока Дуня не свернула за угол.

Солнце садилось за лес на том берегу, большое, красное, мутное. Над рекой поднимался туман, пока ещё тонкий, прозрачный, как дым от сигареты. На горке было пусто. Вагончик закрыт, на двери замок. Степан, видно, сделал, как велели: ушёл и увёл Пирата. Только на поддоне у входа лежал ключ от навесного замка, придавленный обломком кирпича, и записка на клочке цементного мешка: «Свет я выключил весь, щит на замке. Фонарь есть? Если что, звони. С.» И номер телефона.

Дуня сунула записку в карман и открыла дверь.

Внутри было почти темно. Последний свет падал сквозь плёнку на окнах розовым, размытым пятном. Кирпич стен казался чёрным. Пахло цементом, сыростью и тем, вчерашним, железным.

Крик ударил снова, как вчера, но Дуня была готова. Она остановилась на пороге, закрыла глаза, дала ему пройти сквозь себя, как проходит сквозь тело холодная вода, и только потом шагнула внутрь.

Место она выбрала на кухне, в двух шагах от проёма в подвал. Ближе подойти не смогла: тело опять упёрлось, ноги стали ватными. Значит, здесь. Она расстелила одеяло прямо на бетоне, села на него, достала соль и очертила вокруг себя круг. Не замкнутый, а с разрывом в ладонь шириной, со стороны проёма. Бабка учила: «Если хочешь, чтобы дом с тобой говорил, оставь ему дверь. Глухой круг – это ты от него прячешься, а он от тебя».

Потом она встала, подошла к входу и натянула поперёк проёма красную нитку, привязав её к двум гвоздям, торчащим из кирпича. Это было не для дома, а для людей. Если кто-то войдёт, нитка порвётся, и утром она будет знать.

На подоконнике, том самом, где лежали ржавые гвозди, она положила хлеб. Отрезала от краюхи толстый ломоть бабкиным ножом и положила на чистую тряпочку. Посолила. Это было угощение. Дому, или тому, кто в нём живёт, или тому, кто в нём умер. Бабка никогда не уточняла.

Последней она зажгла свечу и поставила её на бетон у края соляного круга, у самого разрыва.

Потом села, укрылась одеялом и стала ждать.

Первую свою ночёвку она провела в двенадцать лет. Бабка взяла её с собой в Ключи, соседнюю деревню, в дом, где зимой от угара умерла старуха. Дом стоял пустой полгода, наследники не могли его продать: покупатели приезжали, заходили и уходили, не дойдя до кухни. Бабка постелила им два тулупа на полу у печи, зажгла свечу и сказала: «Спи, Дуняша. Только не бойся, что бы ни снилось. Ты в гостях. Гостей не обижают».

Дуне тогда приснилось, что она старая и очень устала. Что печь натоплена жарко, а заслонка закрыта, и голова тяжёлая, и хочется только лечь и полежать немного. И она легла и полежала. И это было не страшно, а наоборот, тепло и спокойно, и только в самом конце, когда уже почти ничего не осталось, ей стало жалко кошку, которая заперта в сенях и некормлена.

Утром она плакала, а бабка гладила её по голове и говорила, что это хорошо, что значит, дом её признал. Потом они нашли в подполе высохшую кошку, похоронили её под яблоней, бабка прочитала над порогом то, что прочитала, и посолила, и через месяц дом купили.

«Видишь, – сказала тогда бабка, – старуха не по себе горевала. По кошке. Дом её горе запомнил. Как сказали вслух, так и отпустило».

Дуня потом спросила, а если бы не нашли кошку? Если бы никто не узнал, по чему горюет дом?

«Тогда бы и стоял он пустой, – сказала бабка. – Пока не сгнил бы. Дом, Дуняша, не врёт и не забывает. Это люди забывают. А дом ждёт, пока ему скажут».

Тот дом в Ключах был тихий и печальный. Его горе было похоже на старое одеяло: тёплое, тяжёлое, пахнущее чужой жизнью. Ничего общего с тем, что творилось здесь. Дуня за двадцать пять лет ремесла бывала во многих домах. В домах, где люди умирали долго и тяжело, от рака, от старости. В домах, где пили и дрались, где били детей, где мужья уходили к другим, а жёны травились уксусом. Один раз, с бабкой, в доме, где повесился подросток. Тот дом был страшным. Он молчал, как молчит человек, которого ударили так сильно, что он разучился говорить.

Но никогда она не слышала, чтобы дом кричал. Так, как младенец. Непрерывно. Без надежды, что придут.

Темнело быстро. Розовое пятно на окне стало серым, потом синим, потом исчезло. Огонёк свечи стоял прямо, не колеблясь, хотя в доме без крыши должно было тянуть сквозняком. Дуня смотрела на огонёк. Пламя было маленьким и жёлтым и совсем не давало тепла.

Дом кричал. Но к крику можно было привыкнуть, и через час Дуня его почти не замечала, как не замечают шум реки, живя на берегу. Под криком, если вслушиваться, были другие звуки. Скрип балок наверху, хотя ветра не было. Шорох песка, осыпающегося где-то в углу. Тихий, мерный стук, словно капает вода. Тук. Тук. Тук. Дуня повернула голову на звук и поняла, что это часы на стене. Те самые, дешёвые, на батарейке. Секундная стрелка больше не дёргалась на месте. Она шла. Назад.

Тук. Тук. Тук.

Дуня закрыла глаза.

Она не помнила, когда заснула. Это всегда было так: ты сидишь, слушаешь, думаешь о чём-то своём, о соли, о хлебе, о Варваре у калитки, и вдруг понимаешь, что думаешь уже не своё. Мысли чужие, тяжёлые, неповоротливые, как мокрые брёвна. И видишь не то, что перед глазами.

Темно. Не совсем темно. Где-то далеко, впереди, свет. Белый, режущий, прямо в глаза. Фонарь. Луч скачет, слепит, и невозможно разглядеть, кто его держит.

– Слышь, – говорит голос. Её голос, только не её. Мужской, молодой, чуть хрипловатый, с перваловским говорком, где «что» звучит как «шо». – Я ж никому. Я ж просто спросить.

Что-то у неё в руке. Маленькое, холодное, тонкое. Пальцы сжимают его, и оно отзывается тихим звоном. Колокольчик. Крошечный, как бусина.

– Я ж просто спросить хотел. Чьё это. Мне не надо ничего.

Фонарь не отвечает. Фонарь просто светит. Потом опускается, и в темноте на мгновение видна рука, держащая его. Рука в перчатке. Рабочей, тряпичной, с резиновыми пупырышками на ладони, какие продаются в любом хозяйственном. Больше ничего.

– Ну ты чё молчишь? – говорит голос. Ему уже страшно. – Слышь, ну ты чё?

И тогда приходит удар.

Не спереди, где фонарь. Сбоку, или сверху, Дуня не понимает. Что-то тяжёлое обрушивается на голову, на висок, и мир взрывается белым, ярче любого фонаря, а потом гаснет. Она падает. Она падает долго, бесконечно, как падают во сне, и падение заканчивается не ударом, а мягким, сыпучим, холодным. Камни. Мелкие, острые, мокрые. Они под щекой, под ладонями, во рту. Гравий.

Она ещё жива. Она это знает. Сердце колотится, во рту кровь, в ушах звон. Кто-то рядом дышит. Тяжело, часто, со свистом. Потом шаги. Потом сверху, на спину, на ноги, на голову, начинает сыпаться. Мелкое, сухое, шуршащее. Потом мокрое, тяжёлое. Шлёп. Шлёп. Лопата. Это лопата.

Она хочет закричать и не может. Рот полон гравия. Она хочет пошевелиться и не может. Тело не слушается. Темнота сгущается, тяжесть растёт, давит на спину, на рёбра, на затылок, и холод, снизу, от мокрых камней, ползёт вверх, по ногам, по животу, к сердцу.

А потом, много позже, когда уже нет ни боли, ни страха, а есть только тяжесть, приходит запах. Сырой, едкий, известковый. И гул. Далёкий, монотонный, механический. Так гудит мотор. Так гудит бетономешалка.

И сверху, через тяжесть, через темноту, через камни, начинает литься серое и жидкое.

Дуня закричала.

Она закричала по-настоящему, своим голосом, и от собственного крика проснулась. Она сидела на одеяле, вся мокрая от пота, и хватала ртом воздух. Во рту было сухо и горько. Она провела языком по зубам и почувствовала песок. Сплюнула на ладонь. В свете свечи на ладони лежала серая кашица. Цементная пыль. Мелкая, как мука.

Свеча догорела почти до основания. Пламя по-прежнему стояло ровно.

Дуня вытерла ладонь об одеяло и посмотрела на часы. Стрелки показывали без четверти четыре. Она не знала, верить ли им, раз они шли назад. Вытащила из кармана телефон. Три сорок семь.

Она сидела неподвижно, обхватив колени, и слушала дом. Крик никуда не делся. Но теперь, после сна, она слышала его иначе. Раньше он казался ей просто криком, огромным и бессмысленным. Теперь она различала в нём голос. Тот самый, молодой, перваловский. «Я ж просто спросить». И слышала в нём ещё одно, то, чего не замечала вчера.

Он был свежим.

Боль бывает разной не только по силе, но и по возрасту. Бабка учила её различать это ещё девочкой, на старых домах. Старая боль, двадцатилетняя, пятидесятилетняя, глухая, тупая, ноющая, как ноют к дождю старые переломы. Она въедается в брёвна, в кирпич, в землю, становится частью дома, его запахом, его цветом. С ней можно жить. Многие и живут, не замечая. А свежая боль – острая, горячая, рвущаяся наружу. Она как незажившая рана: кровит при каждом движении.

Этот дом кровил.

Значит, не пожар. Не двадцать два года назад. Не дед Илья с папиросой. Кто-то умер здесь недавно. Совсем недавно. Месяц. Может быть, полтора. Здесь, в этом доме, в этом бетоне, под этой тяжестью.

Под ним.

Дуня медленно повернула голову к проёму в подвал. Проём был тёмным, чернее черноты. Из него тянуло холодом и сырым, известковым запахом, тем самым, из сна.

Она не встала. Она знала, что не сможет.

Вместо этого она подумала о другом. О том, что успела увидеть, прежде чем голос стих. Колокольчик. Маленький, холодный, звенящий. Что-то, что парень держал в руке и о чём «просто хотел спросить». «Чьё это».

И ещё было одно, совсем на краю сна, так глубоко, что она не была уверена, не почудилось ли. Когда сверху лилось серое и жидкое, и всё уже кончилось, и голос парня затих навсегда, где-то ещё ниже, ещё глубже, под гравием, под глиной, под старой, давно слежавшейся землёй, кто-то тихо засмеялся. Не зло. Не страшно. Как смеются девочки, когда им щекотно. Тоненько, на одной ноте. И колокольчик звякнул ещё раз, отдельно, сам по себе.

Дуня поёжилась и плотнее закуталась в одеяло.

В этот момент снаружи, внизу, на дороге, мелькнул свет.

Она увидела его сквозь мутную плёнку окна: два жёлтых пятна, фары, медленно ползущие вдоль подножия холма. Машина ехала со стороны деревни, не быстро. У поворота на горку остановилась. Фары погасли.

Дуня затаила дыхание.

Прошла минута. Две. Потом на склоне, на тропе, ведущей к дому, загорелся маленький белый огонёк. Фонарь. Он покачивался в такт шагам и поднимался вверх, к дому.

Дуня не двигалась. Сердце билось в горле. Она смотрела на огонёк, который становился всё ближе, и думала только об одном: свеча. Её свечу видно снаружи. Слабо, сквозь плёнку, но видно.

Фонарь поднялся до самой площадки перед домом и остановился. Шагов десять от двери. Луч пошарил по стене, по плёнке окна, по поддонам, по вагончику. Задержался на двери. На красной нитке поперёк проёма.

Потом погас.

Дуня слышала, как кто-то стоит там, в темноте, в десяти шагах. Не дышит. Не двигается. Просто стоит и смотрит.

Она не знала, сколько это продолжалось. Может быть, минуту. Может быть, десять. Потом шаги, тихие, осторожные, пошли прочь. Вниз по склону. Фонарь больше не загорался. Через какое-то время внизу хлопнула дверца машины, заурчал мотор, и фары, вспыхнув, поползли обратно, к деревне.

Дуня просидела до рассвета, не сомкнув глаз.

Рассвет пришёл серый, туманный, холодный. Свеча догорела и погасла сама около пяти. Дуня встала, когда окна посветлели, сложила одеяло, собрала вещи. Хлеб на подоконнике лежал там же, где она его оставила, только корка почернела и потрескалась, будто его неделю держали в сыром погребе. Дуня завернула его в тряпочку, чтобы потом закопать. Хлеб из больного дома нельзя ни есть, ни выбрасывать, его надо отдать земле.

Соляной круг на бетоне был цел, только у разрыва, со стороны подвала, соль потемнела и слиплась, как от влаги.

Нитка в дверях тоже была цела.

Дуня отвязала её, смотала, сунула в карман. Вышла на площадку. Внизу, над рекой, лежал туман, густой, молочный. На горке было ясно и холодно. На глине у входа, в десяти шагах от двери, отпечатались следы. Мужские ботинки, большие, с рифлёной подошвой. Обычные рабочие ботинки, какие носит половина мужиков в округе. Следы пришли снизу, постояли, потоптались на месте и ушли обратно.

Дуня присела рядом с одним отпечатком и долго на него смотрела. Потом достала телефон и сфотографировала. Она не знала зачем. Просто так.

В половине восьмого приехал Кочетов. Он вышел из машины с термосом и пакетом, и по его лицу Дуня поняла, что он почти не спал.

– Вы живы, – сказал он. Не то спросил, не то обрадовался.

– Жива.

– Я привёз завтрак. Кофе, бутерброды.

– Мне нельзя. До полудня. – Она кивнула на следы. – Это вы ночью приезжали?

Кочетов посмотрел на отпечатки, потом на неё.

– Нет. Я всю ночь был у себя. У Нины Павловны. Можете у неё спросить, она внизу до двух часов с бумагами сидела, я слышал. Кто-то приходил?

– Приходил.

– Кто?

– Не видела. Фонарь видела. Постоял и ушёл.

Кочетов помолчал, потом медленно поставил термос на поддон.

– Степан?

– Не знаю. Спросите его.

– Спрошу. – Он помолчал ещё. – Ну? Что-нибудь… узнали?

Дуня посмотрела на дом. На рыжие дорожки на кирпиче, которые в утреннем свете казались ещё ярче. На проём двери, за которым была темнота. На серое небо над голыми балками.

– Узнала, – сказала она. – Это не пожар. Это не старое. Тот, кто здесь умер, умер недавно. Месяц назад. Может, полтора. Молодой мужчина. Его ударили по голове и засыпали гравием. А потом сверху залили бетоном.

Кочетов не шелохнулся. Только лицо у него, и без того серое после бессонной ночи, стало совсем бескровным.

– Где? – спросил он хрипло.

Дуня кивнула на дом.

– Там. Под полом. Где-то внизу. Я не смогла спуститься.

– Это невозможно, – сказал Кочетов. – Это… Мы плиту лили в конце августа. Я сам был. Всё было чисто.

– Вы были всю ночь, пока лили?

– Нет. Днём. Утром начали, к вечеру закончили. А подсыпку готовили накануне. – Он запнулся. – Накануне я уезжал в город.

– Кто остался?

– Степан. Рабочие. – Он провёл рукой по лицу. – Евдокия. Вы понимаете, что говорите? Вы понимаете, что это… Если это правда, это уголовное дело. Это полиция. Это… А если неправда? Если это ваш сон? Я вскрою плиту, а там ничего?

– Я не прошу вскрывать.

– А что вы просите?

Дуня подняла с поддона свою сумку, перекинула через плечо.

– Я прошу ответить на один вопрос. Кто из ваших рабочих пропал в конце лета?

Кочетов смотрел на неё долго, не мигая. Внизу, у подножия холма, загудел мотор: к стройке подъезжал старый Степанов «жигулёнок».

– Никто не пропал, – медленно сказал Кочетов. – Один уволился. Сам. В конце августа. Степан говорил, уехал на вахту.

– Как его звали?

– Рома, – сказал Кочетов. – Ткачёв Роман. Из Перевалова. Хороший парень. Безотказный.

Глава 5. Работник, который уехал

Степан вылез из «жигулёнка» не сразу. Сначала посидел, положив руки на руль, глядя на Дуню и Кочетова через пыльное лобовое стекло, и только потом открыл дверцу. За ним, с пассажирского сиденья, выбрался Пират, а с заднего, к удивлению Дуни, девочка. Худенькая, лет одиннадцати, в синей курточке не по размеру и вязаной шапке с помпоном. Светлые волосы выбивались из-под шапки прямыми прядями. Девочка держала под мышкой большой альбом для рисования.

– Сонька, сиди в машине, – сказал Степан, не оборачиваясь.

Девочка не послушалась. Отошла на несколько шагов, к штабелю досок, села на нижнюю и раскрыла альбом на коленях. Пират лёг у её ног.

– Суббота, – пояснил Степан, подходя. – Школы нет, а мать у неё в Перевалове, сегодня не её день. Куда я её дену. – Он посмотрел на Дуню, на её помятое лицо, на сумку с одеялом, и спросил тихо: – Ну как?

– Ты ночью приезжал? – спросила Дуня.

– Я? – Степан моргнул. – Куда?

– Сюда. Около трёх.

– Да ты что, Евдокия Михайловна. Я дома был. Спал. – Он поморщился. – Ну, выпил немного, это да. Но дома. Сонька подтвердит. Да и чего мне тут ночью делать?

– Вот и я думаю, – сказала Дуня.

Она смотрела на его ботинки. Степан носил старые кирзовые сапоги, заляпанные раствором. Подошва гладкая, стёртая. Не те.

– Степан, – вмешался Кочетов. – Расскажи про Ткачёва.

Степан заметно вздрогнул.

– Про Ромку? А чего про него?

– Как он уволился. Когда. Что сказал.

– Да чего он сказал. – Степан снял кепку, почесал затылок, надел обратно. Дуня смотрела на его руки. Руки дрожали. – Ничего не сказал. Уехал, и всё. Тридцатого, кажись. Ну да, тридцатого. Мы утром заливку начали, я его ищу, а его нет. Вагончик открыт, рюкзака нет, койка пустая. Я ему звоню – выключен. Ну, думаю, загулял. А вечером пишет: «Степан Иваныч, извините, уехал на вахту, срочно позвали, расчёт не надо, потом созвонимся». Ну и всё. Больше не звонил.

– Покажи, – сказала Дуня.

– Чего?

– Сообщение.

Степан помедлил, потом полез в карман куртки, достал старый телефон с треснувшим стеклом, долго тыкал в него толстым пальцем, наконец протянул Дуне. На экране светилось сообщение. Номер, подписанный «Рома Ткач». Дата: тридцатое августа, девятнадцать сорок две. Текст был в точности такой, как пересказал Степан, только аккуратнее: с большой буквы, с запятыми, с точкой в конце.

Дуня пролистала выше. Предыдущие сообщения от «Ромы Ткача» были совсем другими. «иваныч я в магаз чё взять» – «ок» – «щас буду» – «там бетон привезли или нет». Без единой запятой, без единой большой буквы.

Она молча вернула телефон.

– А расчёт? – спросил Кочетов. – Я тебе на него деньги переводил. За август. Ты ему отдал?

Степан покраснел.

– Он же сказал, не надо.

– Он сказал «потом созвонимся». Ты ему звонил?

– Звонил. Выключен.

– А матери его? Ты знаешь, где он живёт, у тебя его адрес есть. Ты матери деньги отвёз?

– Глеб Арсеньевич, ну какая мать… – Степан замялся. – Он взрослый парень. Сам сказал. Я думал, позвонит, я ему переведу.

– Сколько там было? – спросил Кочетов ровно.

– Тридцать восемь.

– Тридцать восемь тысяч. – Кочетов кивнул, медленно, сам себе. – Хорошо. Об этом потом.

– Глеб Арсеньевич…

– Потом, Степан.

Степан замолчал, сгорбился, засунул руки в карманы. Дуня видела, что он не просто смущён. Он боится. И страх этот, она чувствовала, был не только из-за денег.

– Степан, – сказала она. – А где Рома ночевал?

– В вагончике. Сначала в доме, все в доме ночевали, пока тепло было. Он дольше всех. Потом в вагончик перебрался.

– Когда?

– Да в конце августа, за неделю где-то. Говорил, сны дурные.

– За неделю до чего? До того, как уехал?

– Ну да.

Дуня подумала. Значит, дом заболел раньше. Рома ещё был жив, когда дом начал кричать. Или не кричать, а пока ещё только вздрагивать, как вздрагивает зверь, учуяв беду. Или, может быть, дом заболел не от Ромы. Может быть, Рома просто первым почувствовал то, что уже было в нём. То, что смеялось глубоко под землёй.

– Двадцать восемь палочек, – сказала она вслух. – На стене. Это он?

– Он. Говорил, считаю, сколько тут живу. Хотел до сорока досчитать, потом домой съездить. – Степан помолчал. – Не досчитал.

– А что он делал перед тем, как уехать? Последние дни?

– Да как все. Кирпич таскал, раствор месил. Траншею копал.

– Какую траншею?

Степан махнул рукой за дом, к обрыву.

– Дренаж. Там вода стоит, от реки поднимается. Надо было отвести. Он копал три дня, один. Потом мы её засыпали щебнем, песком, плёнку положили.

– Кто засыпал?

– Я засыпал. После того как он уехал. – Степан посмотрел на неё с внезапным раздражением. – Евдокия Михайловна, ты чего меня допрашиваешь? Ты ж не милиция.

– Не милиция, – согласилась Дуня. – Иди работай, Степан. Спасибо.

Он ушёл к вагончику, сердито хлопнув дверью. Кочетов стоял рядом, глядя ему вслед, и молчал.

– Он что-то скрывает, – сказал он наконец.

– Все что-то скрывают. Вы тоже.

– Я вам не вру.

– Не врёте, – согласилась Дуня. – Но и не говорите.

Она повернулась и пошла к штабелю досок, где сидела девочка.

Соня не подняла головы. Она рисовала, низко склонившись над альбомом, и высунула кончик языка от усердия. Рисовала она цветными карандашами, короткими, исписанными почти до основания. Пират приподнял морду, посмотрел на Дуню, вильнул хвостом и снова уронил голову на лапы.

– Привет, – сказала Дуня.

– Здрасте.

– Можно посмотреть?

Соня помедлила, потом повернула альбом. Дуня присела рядом на корточки.

На листе был дом. Не этот, не кирпичный, а нарисованный так, как рисуют дома дети: квадрат, треугольник крыши, окошко с крестом, дверь. Только у этого дома не было крыши. Над квадратом стен вместо треугольника торчали коричневые палочки. Балки. Окно было не крестом, а глазом, с ресницами. И из глаза текли слёзы. Голубые, длинные, до самой земли.

Под домом, под зелёной полоской травы, был коричневый слой, а в нём лежал человечек. Палка-палка-огуречик, руки в стороны. Рот у человечка был открыт кругом. А ещё ниже, под ним, под вторым, тёмно-коричневым слоем, был нарисован второй человечек. Маленький, в треугольном платье. У него были длинные жёлтые волосы, и на руке, на палочке-руке, кружочек. Маленький, жёлтый. И от кружочка расходились короткие чёрточки. Как от солнышка. Или как от чего-то звенящего.

Дуня долго смотрела на рисунок.

– Это что? – спросила она наконец, стараясь, чтобы голос звучал обычно.

– Дом, – сказала Соня.

– А почему он плачет?

Соня пожала плечами, словно вопрос был глупый.

– Он всегда плачет. Я сначала думала, это ветер. А это он.

– Ты слышишь?

– Ну да. А вы нет?

Дуня почувствовала, как по спине прошёл холодок. Не страшный. Скорее такой, какой бывает, когда в толпе вдруг слышишь своё имя.

– Слышу, – сказала она. – А это кто? – Она коснулась пальцем человечка под домом.

– Дядя, – сказала Соня. – Он кричит. Только его никто не слышит, потому что он там.

– А это? – Палец сдвинулся ниже, к девочке в треугольном платье.

Соня посмотрела на рисунок, потом на Дуню, и в глазах у неё мелькнуло что-то взрослое, усталое.

– А это девочка. Она давно там. Она не кричит. Она смеётся. И звенит. – Соня помолчала. – Папа сказал, если я ещё такое нарисую, он альбом выкинет.

– Почему?

– Говорит, ненормальная я. Как мамка. – Соня захлопнула альбом. – Вы ему не говорите, ладно?

– Не скажу, – пообещала Дуня. – Соня. Ты давно так слышишь? Дома?

– Всегда, – сказала Соня просто. – У нас дома тоже. У нас печка грустит. С тех пор как мама уехала. А у бабушки Нины в магазине на втором этаже кто-то боится. А у вас дом… – она запнулась, вспоминая. – У вас дом хороший. Только на крыльце холодно.

Дуня смотрела на неё и не знала, что сказать. Ей было почти тридцать восемь лет. Двадцать пять из них она слушала дома. Бабка слушала семьдесят. И ни разу, ни разу за всё это время, Дуня не встречала никого, кроме бабки, кто слышал бы так же.

– Ты молодец, – сказала она тихо. – Ты не ненормальная. Ты просто слышишь. Это редко бывает.

– Правда?

– Правда.

– А вы меня научите? Чтоб они не плакали?

Дуня не успела ответить. От вагончика донеслось:

– Сонька! Иди сюда! Хватит к людям приставать!

Соня вздохнула, сунула альбом под мышку и пошла к отцу. Пират поднялся и потрусил следом. На полдороге девочка обернулась и помахала Дуне. Дуня помахала в ответ.

Кочетов подошёл неслышно и встал рядом.

– Что она нарисовала?

– Дом, – сказала Дуня. – Глеб Арсеньевич. Мне нужно к участковому.

Прежде чем уйти, она всё-таки обошла дом ещё раз, теперь с другой стороны, к обрыву. Кочетов пошёл за ней, не спрашивая.

Траншея начиналась у северо-восточного угла и тянулась к краю холма шагов на тридцать. Её засыпали щебнем почти вровень с землёй, сверху бросили полосу чёрной плёнки, придавили кирпичами. Края уже затянуло мелкой травой, но сама полоса была голой, будто трава боялась на неё лезть. Дуня шла вдоль неё медленно, глядя под ноги. Ближе к обрыву, там, где из склона выпирали старые замшелые камни, щебень лежал выше, горбом, и плёнка в этом месте была порвана и снова заклеена строительным скотчем, серым, широким, неаккуратно, в несколько слоёв.

Дуня остановилась. Под ногами было тихо. Не мёртво тихо, как у обгорелого бруса, а иначе: так тихо бывает в комнате, где кто-то спит и ты боишься его разбудить. Она присела, положила ладонь на плёнку.

Ничего не кричало. Наоборот. Из глубины, из-под щебня, из-под глины, поднималось что-то слабое и ровное, похожее на дыхание. И в нём, если очень прислушаться, была та же тоненькая нота, что приснилась ей ночью. Смех. Нет, даже не смех. Отзвук смеха, как отзвук колокола, который ударили много лет назад, а он всё ещё дрожит.

– Здесь был сарай, – сказал Кочетов у неё за спиной. – Вот от этих камней и до того куста. Бревенчатый, на каменных столбиках. Там дед держал корову, а наверху сеновал.

Дуня медленно подняла голову.

– Откуда вы знаете?

Кочетов осёкся. Он стоял над ней, высокий, в дорогой куртке, засунув руки в карманы, и на лице его было то самое выражение, которое бывает у людей, понявших, что сказали лишнее. Не испуг. Досада.

– В архиве смотрел, – сказал он после паузы. – Когда участок оформляли. Там старый план усадьбы был.

– В архиве, – повторила Дуня. – И там написано, что на сеновале держали сено, а внизу корову?

– Евдокия.

– Вы сказали «дед».

Он молчал. Ветер с реки трепал край плёнки, и она хлопала, как флажок.

– Это одно из «не хочу», – сказал Кочетов наконец, глухо. – Пока. Я обещал вам не врать. Я не вру. Я просто не хочу сейчас об этом.

Дуня встала, отряхнула колени.

– Хорошо, – сказала она. – Только знайте. Дом вас тоже слышит. Он не любит, когда хозяин молчит.

– Я не хозяин, – сказал Кочетов тихо. – Я здесь пока гость. – И, не дожидаясь ответа, пошёл обратно к машине.

Дуня ещё раз посмотрела на заклеенную плёнку, на горб щебня, на старые камни, бывшие когда-то столбиками сарая. Потом отрезала от бабкиной краюхи, той, что почернела на подоконнике, маленький кусочек, раскрошила его и положила на плёнку. Это было неправильно, хлеб из больного дома нельзя оставлять на виду. Но ей показалось, что здесь, у сарая, лежит не болезнь, а кто-то, кто очень давно ничего не ел.

К полудню она добралась до деревенского опорного пункта. Он помещался в бывшем сельсовете, в маленьком бревенчатом доме у клуба, рядом с почтой. Над дверью висела синяя табличка, на окне решётка, на крыльце коврик с надписью «Добро пожаловать», который явно положил кто-то из прежних обитателей, а нынешний не стал убирать.

Антон Сергеевич Зуев сидел за столом у окна и что-то печатал на старом компьютере, двумя пальцами, сосредоточенно хмурясь. Он был высокий, крупный, с широкими плечами и коротким ёжиком русых волос, тронутых сединой на висках. Лицо у него было простое, грубоватое, с тяжёлым подбородком и неожиданно светлыми, почти прозрачными глазами. Форменный китель висел на спинке стула. На столе стояла кружка с надписью «Лучшему папе» и трещиной через всю надпись.

– Евдокия Михайловна, – сказал он, не вставая, и тут же встал, будто вспомнил о вежливости. – Здравствуйте. Опять мыши?

– Нет. Мыши у вас должны были уйти.

– Ушли, – сказал Зуев с некоторым удивлением, будто сам не до конца в это верил. – Я, правда, ещё кота завёл. Но ушли. Садитесь.

Она села на стул для посетителей, жёсткий, казённый. Зуев сел напротив и сложил руки на столе.

– Слушаю.

Дуня рассказала. Коротко, без лишнего. Про дом, про рыжую влагу, про часы, про сон. Про молодой голос с перваловским говором. Про удар, гравий и бетон. Про Рому Ткачёва, который «уволился» тридцатого августа, в день заливки, и с тех пор не отвечает на звонки. Про сообщение с запятыми.

Зуев слушал молча, не перебивая. Только один раз, когда она сказала про сон, чуть заметно приподнял бровь. Когда она закончила, он долго молчал, глядя в окно. Потом взял ручку, повертел в пальцах.

– Евдокия Михайловна, – сказал он наконец. – Я вам очень благодарен за мышей. Правда. Я человек городской, я в эти ваши… – он поискал слово, – практики не верю, но мыши ушли, и спорить с этим трудно. Но вы сейчас пришли к сотруднику полиции и сказали, что вам приснилось убийство.

– Да.

– И вы хотите, чтобы я что сделал? Вскрыл плиту? На основании сна?

– Я не прошу вскрывать плиту.

– А чего вы просите?

– Я прошу узнать, где Рома Ткачёв.

Зуев откинулся на стуле.

– Взрослый парень. Двадцать четыре года, вы сказали? Сам уехал, сам написал, что уезжает. Это не пропажа, Евдокия Михайловна. Это увольнение. Таких, как он, по району сотни. Сегодня здесь, завтра на вахте, послезавтра в Москве на складе. Мне за такое заявление начальник голову оторвёт.

– А если он не уехал?

– А если уехал?

Они смотрели друг на друга через стол. Дуня молчала. Она умела ждать. Зуев, судя по всему, тоже.

– У него мать есть, – сказала Дуня наконец. – В Перевалове. Позвоните ей. Просто спросите, звонил ли сын. Это же вам ничего не стоит.

– Мне это стоит объяснений, если мать напугается и начнёт писать жалобы.

– А если он под бетоном? – сказала Дуня тихо. – Антон Сергеевич. Вы мне не верите, и это правильно. Я бы тоже не поверила. Но вы ведь сами сказали: мыши ушли. Вы не знаете почему. А я знаю. Потому что вы перестали бояться, что вас сюда сослали насовсем. Вы ведь этого боялись? Когда приехали?

Зуев замер. Ручка в его пальцах перестала вертеться.

– Откуда вы…

– От мышей, – сказала Дуня. – Дом боялся вместе с вами. А потом вы привезли сюда кружку от дочки, и коврик не убрали, и кота завели, и дом успокоился. Это всё не практики, Антон Сергеевич. Это просто так устроено. Позвоните ей.

Он смотрел на неё долго. Потом опустил взгляд на кружку с трещиной через надпись «Лучшему папе». Потом снова на неё.

– Фамилия? Имя, отчество матери? Адрес?

– Не знаю. Кочетов знает. У него договоры на всех рабочих.

Зуев вздохнул, тяжело, как вздыхают люди, которые понимают, что делают глупость, и всё равно её делают.

– Хорошо, – сказал он. – Я позвоню Кочетову. Узнаю телефон матери. Позвоню ей. Как бы невзначай, по профилактике, мол, проверяем выезжающих на вахты, сейчас мошенников много. Спрошу, на связи ли сын. Если на связи – всё, Евдокия Михайловна, мы с вами забываем этот разговор. Договорились?

– Договорились.

– А если не на связи… – Он не договорил.

– Тогда поговорим ещё раз, – сказала Дуня и встала.

Он тоже встал, проводил её до двери. На пороге она обернулась.

– Антон Сергеевич. У вас кот какой?

– Рыжий. А что?

– Ничего. Рыжие хорошо дом держат. – Она помолчала. – Спасибо вам.

– Пока не за что, – сказал Зуев. И добавил, уже ей в спину, когда она спускалась с крыльца: – Евдокия Михайловна. Вы правда это слышите? По-настоящему?

– По-настоящему, – сказала Дуня, не оборачиваясь.

Она шла домой через всю деревню, мимо клуба, мимо магазина, мимо колхозной конторы, и думала о девочке с альбомом. О человечке, который кричит, и о другом, маленьком, в треугольном платье, который смеётся и звенит.

«Она давно там».

Давно. Ниже. Под Ромой, под гравием, под старой землёй. Там, где когда-то стоял сарай Ширяевых, там, где Рома копал свою траншею три дня, один.

Траншею, которую потом засыпал Степан.

Дуня остановилась посреди улицы, у колодца, и сжала в кармане бабкин мешочек с солью так, что затрещала холстина. Мимо прошла Ирка-почтальонша, поздоровалась, посмотрела удивлённо. Дуня кивнула ей, не видя.

Она вдруг поняла, что знает, что держал в руке Рома. Что-то маленькое и холодное, звенящее, о чём он «просто хотел спросить». Чьё это.

Он нашёл это в траншее. Под старым сараем. Рядом с тем, кто давно там лежит и смеётся.

И кто-то ему ответил.

Глава 6. Участковый

Зуев пришёл сам, в воскресенье, около десяти утра.

Дуня увидела его из окна: он шёл по улице не в форме, а в старой брезентовой куртке и джинсах, и от этого казался моложе и как-то беззащитнее, словно снял не китель, а часть кожи. У калитки он остановился, поглядел на дом, на наличники, на яблони, и Дуня поняла, что он колеблется. Потом он открыл калитку и пошёл к крыльцу.

На крыльце, на третьей ступеньке, он вдруг замер и посмотрел себе под ноги.

Дуня открыла дверь раньше, чем он постучал.

– Холодно, – сказал Зуев вместо приветствия, кивнув на ступеньку. – Вот тут. Через ботинок.

– Знаю.

– Почему?

– Не знаю, – честно сказала Дуня. – Всю жизнь так. Проходите.

Он вошёл, пригнувшись под низкой притолокой, и остановился в сенях, оглядываясь. Сени у Дуни были большие, светлые, с длинной лавкой вдоль стены и полками, на которых стояли банки, корзины, связки лука и пучки трав. Пахло сухим сеном, мятой и старым деревом.

– У вас тут хорошо, – сказал Зуев. – Спокойно как-то.

– Дом старый. Старые дома спокойнее. Им уже нечего бояться. Чаю?

– Не откажусь.

Она провела его на кухню, усадила за стол у окна, поставила чайник. Зуев сидел, положив большие руки на клеёнку, и смотрел, как она достаёт чашки, режет хлеб, ставит на стол мёд, Ольгин, лапинский. Смотрел внимательно, но без того любопытства, с каким приезжие разглядывают «ведьму». Скорее так, как смотрят на работу хорошего мастера.

– Я позвонил, – сказал он, когда чай был налит.

Дуня села напротив.

– И?

– Тамара Викторовна Ткачёва. Пятьдесят один год. Работает на хлебозаводе в Перевалове, в ночную смену. Рома у неё единственный. Отца нет, давно. – Зуев помолчал, грея руки о чашку. – Я ей сказал, как договаривались, что мы проверяем людей, которые уехали на вахты, потому что сейчас много вербовщиков, мошенников. Спросил, на связи ли сын.

– И что она?

– Сказала, на связи. Пишет. Последний раз писал в среду. «Мам я на вахте, всё норм, деньги скоро скину». Она мне прочитала.

Дуня молчала.

– Я спросил, звонит ли он, – продолжал Зуев. – Голосом. Она сказала, нет. Говорит, там связь плохая, только сообщения проходят. Это бывает, на северных вахтах так бывает. Я спросил, где вахта. Она не знает. Он не сказал. Я спросил, переводил ли он деньги. Она сказала, нет пока. Обещает.

Он отпил чаю, поставил чашку.

– А потом она сама спросила, всё ли с ним в порядке. Я сказал, что, насколько мне известно, да. И тогда она сказала… – Зуев снова помолчал, и Дуня видела, что ему трудно это пересказывать. – Она сказала: «Вы знаете, он раньше никогда не писал. Он писать не любит. Он всегда звонил. Даже из соседней комнаты звонил, лентяй, чтобы не вставать. А теперь только пишет». И засмеялась. Нервно так. И говорит: «Взрослый стал, наверно».

– Она боится, – сказала Дуня.

– Боится. – Зуев кивнул. – Но заявления писать не будет. Я осторожно спросил, не хочет ли она, чтобы мы его поискали. Она сказала: «Зачем? Он же пишет». И я её понимаю. Если

она напишет заявление, это значит, что она признает: что-то не так. А пока не написала, пока он пишет, всё хорошо.

– И что теперь?

– А теперь ничего, Евдокия Михайловна. – Зуев развёл руками. – Совершеннолетний гражданин находится на связи с матерью. Оснований для розыска нет. Оснований для чего-либо нет.

– Но вы пришли.

– Пришёл.

– Почему?

Он долго не отвечал. Смотрел в окно, на яблони, на серое небо, на далёкий край поля.

– Потому что я спросил у неё, как он пишет, – сказал он наконец. – Ну, грамотно ли. Она удивилась, говорит, да какое там грамотно, он в школе по русскому еле на тройку тянул, пишет как курица лапой, без точек, без запятых. А потом вдруг замолчала. И говорит: «Хотя нет. Последние стал аккуратно писать. С запятыми. Я ещё подумала, может, там девушка у него, она его учит». – Зуев посмотрел на Дуню. – Вы мне вчера сказали про запятые. В сообщении Степану.

– Да.

– Я не верю в сны, Евдокия Михайловна. Но в запятые я верю. Это моя работа.

Дуня медленно кивнула.

– Я попробую узнать, где его телефон, – сказал Зуев. – Неофициально. У меня в районе знакомый в отделе. Если повезёт, он сможет хотя бы посмотреть, в какой зоне телефон выходит на связь. Если на севере, значит, всё, вахта, я дурак, вы… – он запнулся, – вы ошиблись. А если нет…

– А если нет?

– Тогда я буду думать.

Они допили чай молча. Потом Зуев сказал:

– Покажите мне.

– Что?

– Дом. Я хочу сам посмотреть. Не на сны. На стены. На траншею. На эту вашу плиту.

Дуня поднялась.

Они пошли пешком, через всю деревню. Было воскресенье, и деревня была пустой и сонной, только у магазина стояли двое мужиков с пивом, да Ирка-почтальонша выгуливала толстую таксу. Мужики проводили их взглядами. Ирка поздоровалась нарочито громко и потом долго смотрела вслед, и Дуня знала, что к вечеру вся деревня будет знать, что Ремезова ходила на горку с участковым. Ей было всё равно.

На горке было пусто. По воскресеньям теперь стройка не работала: когда люди побежали, Кочетов отменил даже авральные выходные. Вагончик заперт, дверь в дом на замке. Ключ лежал на прежнем месте, под обломком кирпича. Дуня показала Зуеву, тот только покачал головой.

– Безопасность, – сказал он. – Деревня.

Он обошёл дом медленно, как она в первый раз, глядя не столько на стены, сколько на землю. Постоял у западной стены, у рыжих дорожек. Потрогал пальцем, понюхал, поморщился. Достал из кармана куртки пустой пузырёк из-под какого-то лекарства, Дуня не разглядела, какого, и соскрёб в него немного влаги со стены, ногтем, аккуратно.

– Отправлю в лабораторию, – пояснил он. – Знакомая есть в Перевалове, в санэпидемстанции. Пусть скажет, что это.

– Она скажет, железо.

– Может быть. А может быть, нет. – Он закрыл пузырёк и сунул в карман. – Пойдёмте внутрь.

Внутри он ходил дольше. Дуня стояла у порога и смотрела, как он медленно идёт от стены к стене, смотрит на часы, на гвозди, на матрасы, на палочки, нацарапанные на кирпиче. Около проёма в подвал он остановился и заглянул вниз.

– Там что?

– Котельная. Отдельная плита, пониже. Дверь заперта, ключ у электрика.

– А вы туда не спускались?

– Не смогла.

Он обернулся к ней.

– Что значит, не смогли?

– То и значит. Ноги не идут.

Зуев посмотрел на неё долгим взглядом. Потом снова на проём. Потом, к её удивлению, поставил ногу на первую ступеньку времянки и начал спускаться. Дуня рванулась было за ним, но остановилась у ограждения: тело снова упёрлось, наотрез.

Внизу щёлкнул фонарик. Луч заметался по бетонным стенам, по трубам, по кабелю, уходящему куда-то в темноту. Дуня слышала, как шаги Зуева гулко отдаются в подвале. Потом скрипнула дверь, и голос Зуева, приглушённый, сказал:

– Заперто. Здоровая дверь, железная. – Пауза. – Холодно тут. Как в морге.

Он поднялся минут через пять. Лицо у него было бледным, а над верхней губой выступил пот, хотя в подвале, по его же словам, было холодно.

– Ну? – спросила Дуня.

– Ничего, – сказал Зуев. – Подвал как подвал. Бетон. Трубы. Кабель. – Он помолчал. – Только мне там не понравилось. Не знаю почему. Как будто кто-то в спину смотрит.

– Дом смотрит.

– Не начинайте, Евдокия Михайловна.

– Вы сами спросили.

Он вытер лоб рукавом и пошёл к выходу. На пороге, на бетонном выступе, он вдруг остановился, как она в первый раз, и потоптался на месте.

– Странно, – сказал он. – Выйти тоже трудно.

– Это потому, что он вас запомнил, – сказала Дуня. – Теперь не отпускает. Как собака, которой дали погладить себя.

– Вы шутите?

– Нет.

Они вышли. Зуев остановился на площадке, глубоко вдохнул сырой речной воздух, словно вынырнул из-под воды. Потом достал телефон, открыл фотографию, которую Дуня прислала ему вчера вечером, и стал сравнивать с отпечатками на глине. Отпечатки за сутки подсохли и оплыли, но кое-где ещё были видны.

– Ботинки «Вездеход», – сказал он. – Модель такая. Продаётся в каждом хозяйственном в Перевалове, на рынке, в магазине рабочей одежды. Размер сорок третий, сорок четвёртый. У меня такие же, только сорок пятый. – Он показал ногу. – Ничего не скажут.

– А кто ездит ночью на горку? Без дела?

– Да кто угодно. Пьяные, подростки. Рыбаки. Тот же Степан. – Зуев убрал телефон. – Вы говорили, траншея. Покажите.

Дуня повела его за дом, к обрыву. По дороге она вспомнила, что ещё хотела ему показать, и свернула вниз, по склону, к подножию холма. К тому месту, где лежал обгорелый брус.

– Сюда.

Зуев спустился за ней, оскальзываясь на мокрой траве. Дуня присела у бруса, разгребла пальцами землю. Серые зёрна лежали на прежнем месте. Она набрала щепоть и протянула Зуеву.

– Попробуйте.

Он посмотрел подозрительно, но взял зерно и лизнул.

– Соль, – удивлённо сказал он.

– Соль. Бабкина. Она её сюда положила в две тысячи четвёртом. После пожара. – Дуня встала. – Пойдёмте.

Она шла вдоль подножия холма, по кругу, медленно, глядя под ноги, и через каждые двадцать–тридцать шагов останавливалась, наклонялась, разгребала землю. Не везде. Но во многих местах под дёрном, под слоем прелых листьев, лежали всё те же серые зёрна, слежавшиеся в камешки. Они шли полосой. Ровной, почти непрерывной полосой, опоясывающей холм на одной высоте, примерно на трети склона.

Зуев шёл за ней и молчал. Когда они прошли полкруга, он сказал:

– Это что, вокруг всего холма?

– Вокруг всей усадьбы. Дом, сарай, огород. Всё, что было у Ширяевых.

– Зачем?

– Чтобы запереть.

– Что запереть?

Дуня остановилась.

– Я не знаю, – сказала она. – Бабка не сказала. Соль на пороге не стирает память, Антон Сергеевич. Она её запирает. Как замок на двери. Что было в доме, то в нём остаётся, но наружу не выходит. Не ходит по деревне, не лезет в соседние дома, не снится людям. Бабка так делала, когда в доме случалось что-то страшное, а сказать вслух было нельзя. Или некому. Или ещё не время.

– И что здесь было страшного? Пожар?

– Пожар не запирают. Пожар выгорает сам.

Они пошли дальше. Солёная полоса огибала холм и поднималась к обрыву, туда, где над рекой торчали старые замшелые камни. И там, у самого края, у камней, она обрывалась.

Не просто обрывалась. Её перерезали. Траншея, засыпанная щебнем, шла от дома к обрыву и, не доходя трёх шагов до края, рассекала солёную полосу надвое. Дуня присела у разреза. С одной стороны в земле лежали серые зёрна. С другой тоже. А между ними, на ширину траншеи, ничего. Только щебень.

– Вот, – сказала она тихо.

Зуев присел рядом.

– Перекопали, – сказал он.

– Перекопали. И фундамент тоже. Видите, вон там? – Дуня показала наверх, на угол дома. – Котлован под подвал. Он тоже на полосу заходит. Когда копали, всю соль с той стороны выбросили вместе с землёй. Бабкин замок сломали. В двух местах.

– И что теперь?

– А теперь то, что было заперто, вышло. – Дуня встала. – И дом его в себя взял. Он ведь новый. Пустой. Ему нечем было своим болеть. Он взял чужое.

Зуев тоже встал. Отряхнул колени. Посмотрел на дом наверху, на рыжие дорожки, на голые балки над стенами, на чёрную плёнку траншеи.

– Евдокия Михайловна, – сказал он медленно. – Я сейчас скажу вам, как я это вижу. Не обижайтесь.

– Говорите.

– Двадцать два года назад здесь сгорел дом. Ваша бабушка, по каким-то своим причинам, насыпала вокруг пожарища соль. Сейчас тут строят новый дом, перекопали землю, соль частично выбросили. В новом доме сыро, у людей плохие сны. Это можно объяснить без всякой мистики. Стройка на пожарище. Слухи. Самовнушение. Плюс один рабочий уехал, никому толком не сказав. Это тоже можно объяснить.

– Можно, – согласилась Дуня.

– Но, – сказал Зуев и замолчал.

– Но?

– Но запятые, – сказал он. – И то, что мне в подвале было страшно. А мне, Евдокия Михайловна, почти никогда не бывает страшно. Я двенадцать лет в полиции. Я трупы в лесу находил, которые там по полгода лежали. А тут мне было страшно в пустом подвале.

Он помолчал.

– И ещё. Ваша бабушка насыпала соль вокруг пожарища. А зачем она это сделала, если пожар, как вы говорите, не запирают? Что она запирала?

– Я не знаю, – повторила Дуня.

– А кто знает?

Дуня посмотрела на реку. Внизу, у подножия холма, река делала широкую излучину, и там, у противоположного берега, под ивами, темнела вода. Чёрный омут. Там нашли красную туфлю Али.

– Может быть, никто, – сказала она. – Может быть, бабкина книга. Она вела записи. Про все дома, которые лечила. Только последние страницы я прочитать не могу. Они зашифрованы.

– Зашифрованы? – Зуев поднял бровь. – Ваша бабушка шифровала записи?

– Тарабарщиной какой-то. Я думала, это рецепты.

– Покажете мне?

Дуня помедлила. Бабкина книга была не просто тетрадью. Это было почти как бабка сама, её голос, её руки. Показать её чужому человеку было всё равно что пустить его в бабкину спальню.

– Сама сначала посмотрю, – сказала она. – Потом, может быть.

– Хорошо. – Зуев кивнул, не настаивая. – Я тогда займусь телефоном. Позвоню завтра своему знакомому в район. Если что-то узнаю, сразу к вам.

Они спустились с горки вместе и пошли по дороге в деревню. Сначала молчали. Потом Дуня спросила, сама не зная зачем:

– А вас правда сюда сослали?

Зуев хмыкнул.

– Мыши рассказали?

– Мыши.

– Ну, раз мыши. – Он сунул руки в карманы куртки, ссутулился. – Сослали, да. Я в области работал, в уголовном розыске. Было одно дело. Парня взяли за грабёж, а грабил не он. Начальству хотелось, чтобы он, раскрываемость, конец квартала. Я отказался подписывать. Ну и вот. – Он пожал плечами. – Сказали: поработай пока участковым, остынь. Три года остываю.

– А дочка?

– С матерью, в области. Маше девять. Приезжает на каникулы. Кружку вот подарила, а я её уронил в первую же неделю. – Он усмехнулся. – Склеил. Она не знает.

– Она знает, – сказала Дуня. – Дети всегда знают.

– Это тоже мыши?

– Нет. Это я сама.

Он посмотрел на неё сбоку, и Дуня почувствовала, как у неё отчего-то горят уши. Она отвернулась к реке.

– Евдокия Михайловна, – сказал Зуев. – Можно и я спрошу?

– Спрашивайте.

– Почему вы здесь? Вы же могли уехать. В район, в город. Тут ведь ничего нет. Работы нет, людей нет. Половина домов пустые.

– Вот потому и здесь, – сказала Дуня. – Пустые дома тоже болеют, Антон Сергеевич. Даже сильнее, чем жилые. Кто-то должен к ним ходить.

– И вам за это мёдом платят.

– Мёдом. Салом. Иногда картошкой. – Она улыбнулась. – Я ещё на почте полставки работаю, по вторникам и четвергам. Посылки выдаю. Так что не пропаду.

Он кивнул, словно это его успокоило, и больше ничего не спрашивал. У колхозной конторы Зуев остановился.

– Мне сюда, – он кивнул в сторону клуба, где был опорный пункт. – Спасибо за чай.

– Вам спасибо.

– За что?

– За то, что пришли.

Он посмотрел на неё сверху вниз, чуть смущённо, и неожиданно улыбнулся. Улыбка у него была хорошая, неловкая, мальчишеская.

– Знаете, Евдокия Михайловна, мне про вас в первый же день сказали. Глава поселения сказала, Нина Павловна. Что тут у нас есть одна, Ремезова, к ней ходят дома лечить, так вы её не трогайте, она безобидная.

– Безобидная, – повторила Дуня.

– Она так сказала. А я сейчас думаю, что ошиблась она. – Он перестал улыбаться. – Будьте осторожны, ладно? Если кто-то ночью ходит на горку с фонарём, этот кто-то, может, тоже не очень безобидный.

Он кивнул и пошёл к клубу.

Дуня вернулась домой к обеду. У калитки Сенцовых, как всегда, стояла Варвара, но не одна: рядом, облокотившись на забор, курил Толя. Увидев Дуню, он выбросил окурок и пошёл ей навстречу.

– Ну ты даёшь, – сказал он, но не сердито, а с беспокойством. – Мать говорит, ты в пятницу там ночевала. Одна. На горке.

– Ночевала.

– Чего ж не сказала? Я бы посторожил. Мало ли кто там шатается по ночам. Мужики пьяные, рыбаки. Ты ж одна, баба.

– Я не баба, Толь. Я знахарка.

– Знахарка, – Толя покачал головой, улыбнулся в бороду. – Знахарке тоже по голове дать могут. Ты в следующий раз скажи. Я в вагончике у Степана посижу, у меня ключ есть. Мне не трудно.

– Спасибо, Толя. – Дуня помолчала. – А ты в пятницу ночью куда-нибудь ездил?

– В пятницу? – Толя нахмурился, вспоминая. – В Покровку ездил. Говорил же матери. Счётчик менял у Лыковых, потом посидели, выпили немного. Вернулся поздно, в первом часу, наверно. Мать спала уже. А что?

– Ничего. Кто-то на горку ночью приезжал.

– Ну вот видишь. – Толя развёл руками. – Говорю ж, шатаются. Ты больше одна не ходи. Обещаешь?

– Обещаю, – сказала Дуня.

Она вошла во двор, поднялась на крыльцо, перешагнула через третью ступеньку. На пороге остановилась и оглянулась. Толя стоял у забора, закуривал новую сигарету и смотрел в сторону горки. Варвара что-то говорила ему, он кивал, не слушая. Потом он повернулся, увидел, что Дуня на него смотрит, и помахал ей рукой.

Обычный, родной, спокойный Толя-свет. Который двадцать два года назад приходил каждую неделю топить её печь, чтобы дом не выстыл.

Дуня помахала в ответ и закрыла дверь.

В доме было тихо и прохладно. Она прошла на кухню, достала с полки бабкину тетрадь, развязала бечёвку и раскрыла на последних страницах. Строчки тарабарщины смотрели на неё ровными рядами.

– Ну, бабушка, – сказала Дуня вслух. – Рассказывай.

Глава 7. Домовая книга

Тетрадь была толстая, в девяносто шесть листов, в синей коленкоровой обложке, вытертой по краям до серой основы. Такие тетради продавали в сельпо в шестидесятых годах для бухгалтерии. Бабка купила её, когда начинала, и писала в ней почти сорок лет, мелким, круглым, наклонным почерком, каким учили писать в сельских школах до войны. Сначала химическим карандашом, потом фиолетовыми чернилами, потом шариковой ручкой. Химический карандаш выцвел до бледной сирени, чернила местами расплылись от сырости, но всё читалось.

Дуня открыла первую страницу. Она знала её наизусть, но всё равно прочла.

«Домовая книга Ремезовой Матрёны Ильиничны. Начата в 1966 году, на Покров. Что здесь записано, то было. Что не записано, того не было. Кто прочтёт, тот пусть молчит».

Ниже, другим, более поздним почерком, совсем мелко: «Дуняше, когда вырастет».

Дуня провела пальцем по этим двум словам, как в детстве. Потом перевернула страницу.

Записи шли по годам. Каждая начиналась с фамилии и названия деревни, потом шло описание: что болит у дома, как болит, с какого времени. Потом то, что бабка узнала. Потом то, что было сказано вслух, и кем. Потом, что сделано. В конце стоял итог, всегда одним-двумя словами: «Вылечила». «Отпустило». «Не взялась». «Разобрали». «Оставила».

«1967. Покровка, Лыковы. Печь дымит, ни в какую не тянет. Труба чистая. Дед Лыков помер в прошлую зиму, сын с невесткой поделить его сундук не могут. Сказали вслух, кто кому чего желал. Печь затопили вместе. Вылечила».

«1971. Сухая Лука, Голубевы. В сенях пол гниёт, хотя сухо. Хозяйка второго родила мёртвого и ни с кем о том не говорит. Говорила с ней три дня. На третий заплакала. Пол перестелили. Отпустило».

«1983. Сухая Лука, Голубевы же. Дед Ерофей в бане удавился. Дом не держит тепла, все спят в одежде. Тихон, сын, председатель, не велит говорить, от чего отец. Отец от стыда, что сын ворует колхозное, а он покрывал. Сказала Тихону. Тихон кричал. Потом сказал сам, на поминках, при всех. Вылечила. Тихон мне не простит».

Дуня читала медленно, страницу за страницей, хотя многое помнила. Перед ней проходила вся деревня, все её дома, все её беды за сорок лет. Пьянство и измены, мёртвые дети и неродившиеся дети, долги, наследство, драки, болезни, обиды, тайны. Сухая Лука была маленькой деревней, но горя в ней хватило бы на город. Бабка записывала всё. Без жалости и без осуждения. Сухо, коротко, как записывают в амбарной книге приход и расход.

«1989. Сухая Лука, Ремезовы. Свой дом. Михаил, муж Лиды, ушёл. Дуняша не спит, плачет. Дом не плачет, держит. Сказала Лиде: скажи ребёнку, что отец не вернётся. Не сказала. Оставила».

Дуня задержалась на этой записи. Отца она почти не помнила. Он ушёл, когда ей было три года, уехал на заработки куда-то на юг, и больше никто его не видел. Мать так и не сказала ей прямо. Сказала бабка, когда Дуне было восемь: «Не жди его, Дуняша. Не придёт». И Дуня перестала ждать, сразу, в один день, будто выключили свет. Она до сих пор помнила это чувство.

Дальше. Девяностые. Колхоз развалился, люди уезжали, дома пустели. Записей стало больше, а итоги всё чаще: «Оставила». «Не взялась». «Некому лечить, все уехали».

«1999. Сухая Лука, Сенцовы. В сенях сыро. Варя плачет по ночам, о чём, не говорит. Толя молодую жену привёл, Галину. Невестка не ко двору, может, оттого. Посолила сени. Не прошло. Оставила».

Дуня вспомнила грибной запах в сенях у Варвары и бабкины слова: «От старых слёз». Значит, уже тогда. Она перевернула страницу.

«1993. Сухая Лука, Ширяевы. Не лечить, а записать для памяти. Верин старший, Глебушка, на лето к деду приехал, семнадцатый год ему. Дом радуется, печь сама тянет, хоть летом не топят. Илья с ним на омут ходит рыбу ловить. Хорошо в доме».

«1995. Сухая Лука, Ширяевы. Вера померла. Дом в горе, холодный. Илья молчит. Девочка семи лет не плачет, это плохо. Сидела с ней ночь. Заплакала. Глебушку отец на похороны не пустил. Дом ждал его, не дождался. Оставила».

Дуня перечитала эти две записи дважды. Глебушка. Верин старший сын, которого увёз отец и имя которого не могла вспомнить Варвара. Семнадцатый год в девяносто третьем. Значит, родился в семьдесят шестом или около того. Сейчас ему было бы пятьдесят.

«Здесь был сарай. Там дед держал корову».

Дед.

Она положила ладонь на страницу, как кладут ладонь на стену. Глеб Арсеньевич Кочетов. «Это одно из не хочу».

Ну что ж, подумала Дуня. Не хочешь, не говори. Дом тебя всё равно знает. Дом тебя помнит шестнадцатилетним, с удочкой. Он для того и радовался, и печь у него сама тянула.

Она не стала никому звонить. Не стала бежать к магазину, стучать в дверь на втором этаже. Это было не её дело. Человек сам скажет, когда сможет. Бабка учила: если дом не говорит, не выламывай двери, подожди, пока откроет. А человек тот же дом, только на ногах.

«2002. Сухая Лука, клуб. После танцев драка, Кирюшке Барминому голову разбили. Клуб скрипит. Сказали, кто бил. Отпустило».

«2003. Сухая Лука, Барминых магазин. Ларь не морозит, продукты портятся. Нина сама пришла, просила. Нина врёт кому-то, а кому, не говорит. Посолила. Не взялась».

«2004, апрель. Сухая Лука, Ширяевы. Илья просит глянуть, внучка по ночам из дома бегает, он боится. Дом говорит: девочка счастлива. И боится. Сказала Илье: не держи её, держи дом. Не послушал, ругается с ней. Дом трещит».

Дуня остановилась. Перечитала. «Девочка счастлива. И боится».

Аля. Весна, за месяц до того, как она исчезла.

«2004, май. Сухая Лука, Ширяевы. Аля пропала. Илья пришёл ночью, плачет. Ходила к ним. Дом говорит: в ту ночь её не видел. Ушла с вечера и не вернулась. Беда не в доме».

Дальше. Следующая страница.

Следующая страница начиналась с тарабарщины.

Дуня знала это. Знала все последние страницы, десять листов, двадцать сторон, исписанные ровным бабкиным почерком, на вид совершенно обычным, только слова в нём были не слова. «Ася жоциса т хепакору». «Исья пе шемик». Гласные на своих местах, а согласные будто перемешали ложкой. Она смотрела на эти страницы в детстве, в юности, в двадцать, в тридцать. Думала, что это молитвы. Думала, что рецепты. Думала, что бабка под конец жизни немного повредилась умом. Теперь она видела то, чего раньше не замечала. Тарабарщина начиналась сразу после мая 2004 года. Сразу после «Аля пропала».

Она пролистала дальше. Двенадцать страниц тарабарщины, потом одна строчка обычным языком, посредине, будто бабка забыла шифровать:

«2004, октябрь. Ширяева горка. Посолила. Не трогать. Пока не скажут».

Потом ещё четыре страницы тарабарщины. И последняя запись, тоже обычным языком, внизу самой последней исписанной страницы. Дуня всегда её видела, и всегда ей казалось, что это просто бабкина усталость, ворчание, как бывает у стариков.

«2004, декабрь. Сказать не могу. Некому. Жалко. Дуняшу береги, господи».

После этого страницы были пустыми.

Дуня сидела над тетрадью долго. За окном начинало темнеть. Ветер усилился, яблони скрипели, где-то хлопала незапертая калитка. Она встала, зажгла лампу над столом, поставила чайник. Чайник закипел, щёлкнул выключателем. Она не налила чаю. Вернулась к столу.

Шифр. Это был шифр, а не бред. Бабка не сходила с ума. Бабка писала то, что нельзя было писать открытым текстом, и писала это начиная с той самой весны, когда пропала Аля.

Дуня взяла карандаш и чистый лист бумаги и стала переписывать первую строчку. «Ася жоциса т хепакору». Гласные на месте. Значит, меняются только согласные. Каждая согласная заменена какой-то другой. Если догадаться, какой на какую, можно прочитать.

Она смотрела на строчку, и в голове вдруг всплыло. Бабка, совсем старая, в очках, сидит у окна с газетой. Дуня, лет десяти, заглядывает ей через плечо. Бабка читает что-то вслух, какую-то бессмыслицу, и смеётся. «Что это, бабушка?» – «А это, Дуняша, тарабарская грамота. Так в старину монахи писали, чтобы чужой не прочёл. Простая литорея. Мне её мой дед показал, он у староверов грамоте учился». – «А научи!» – «Подрастёшь, научу».

Не научила. Не успела.

Дуня просидела над листом до полуночи. Сначала она пробовала менять буквы по алфавиту: каждую согласную на следующую, потом на предыдущую, потом через одну, через две. Выходила каша. «Бтя». «Гря». Ничего похожего на слова. Тогда она стала угадывать.

«Ася». Три буквы, первая и последняя гласные, посредине одна согласная. Это могло быть и само «Ася», имя, но Дуня не знала в Сухой Луке ни одной Аси. «Аня». «Аля». «Ая»… нет. «Аня» или «Аля». Сердце у неё стукнуло. Аля. Весна две тысячи четвёртого. Если «с» значит «л», тогда во втором слове, «жоциса», тоже «л»: «жоцила». Что-то-о-что-то-ила. «Ходила». «Водила». «Носила». «Косила». «Возила». «Родила».

Аля ходила. Аля родила. Аля носила.

Она выписала все варианты столбиком и смотрела на них, и ей становилось холодно. Каждый вариант что-то значил, и каждый мог оказаться неправдой. Она попробовала идти дальше, к третьему слову, и запуталась окончательно. Одна буква «т», одинокая, как предлог. «В»? «К»? «С»? Но «с» уже было занято, если она права про «Алю». Четвёртое слово, длинное, «хепакору», вообще ни на что не ложилось: слишком много неизвестных букв. Она перебирала, перебирала, и под конец уже не понимала, видит ли в строчке смысл или сама его туда вкладывает. Так бывает, когда долго смотришь на узор обоев: начинают проступать лица.

Бабка бы сказала: не придумывай, слушай.

Она перешла ко второй строчке. «Исья пе шемик». Если «с» это «л», то первое слово «Илья». Илья! Это уже было похоже на правду. Илья что-то-е что-то-е-что-то-и-что-то. «Не». «Не». «Пе» – это «не»? Значит, «п» значит «н»? Илья не… «шемик». «Верит». «Велит». «Ценит». «Решит».

Илья не верит.

Дуня отложила карандаш и сидела, глядя на свои каракули. Она не была уверена. Она могла ошибаться в каждой букве. Двадцать сторон тарабарщины, сотни слов, и в каждом три, четыре, пять неизвестных. Угадывать так можно до зимы. Бабка говорила «простая литорея». Значит, есть правило, простое, как таблица умножения: какая буква на какую меняется. Его надо знать, а не вымучивать.

Она отложила карандаш. Глаза слезились.

Дуня закрыла тетрадь, но не убрала. Оставила на столе, под лампой. Встала, подошла к окну.

На улице было совсем темно. У Сенцовых горел свет в кухне, жёлтый квадрат окна на чёрном. За забором, у навеса, вспыхивал и гас красный огонёк. Толя курил. Он всегда курил перед сном у навеса, сколько Дуня себя помнила. Огонёк вспыхнул, погас, вспыхнул.

Она отвернулась.

Ей вспомнилась бабкина последняя зима. Эту зиму она старалась не вспоминать, но сейчас не могла остановиться.

Осень после пожара была страшной. Бабка почти не спала. Уходила по вечерам, возвращалась за полночь. Похудела, почернела. Перестала смеяться. Перестала ругаться на Дуню за

двойки, перестала гонять её крапивой. Иногда Дуня просыпалась ночью и видела, что бабка сидит на кухне, в темноте, не раздеваясь, и смотрит в печь. А в ноябре бабка сделала то, чего не делала никогда: стала запирать дверь на ночь. На щеколду и на крюк. И посолила все пороги в доме. Каждый вечер, перед сном, новую полоску.

Мать в ту осень жила с ними, приехала из Перевалова, где работала в аптеке, потому что бабка попросила. Мать с бабкой ругались. Шёпотом, в сенях, чтобы Дуня не слышала. Дуня слышала только обрывки. «Ты с ума сошла, мама». – «Не твоё дело». – «Это моё дело, у меня ребёнок». – «Вот потому и не твоё. Увози её». – «Куда я её увезу посреди года?» – «Куда хочешь».

Мать не увезла. А в декабре, перед Новым годом, бабка позвала Дуню к себе, посадила на кровать, взяла её руки в свои, сухие, горячие, и сказала:

«Если со мной что случится, ты к матери поезжай. В Перевалов. Тут не оставайся».

«А что с тобой случится, бабушка?»

«Да ничего. Старая я. Мало ли. И на горку не ходи. Никогда. Обещай».

«Обещаю».

«И книгу мою береги. Подрастёшь, прочтёшь. Всё поймёшь».

Дуня тогда ничего не поняла. Ей было пятнадцать. Ей было интересно, подарят ли ей на Новый год плеер, о котором она мечтала, и позвонит ли ей Митька Голубев из десятого класса. Бабкины слова она пропустила мимо ушей. Как пропускала мимо ушей всё, что говорили взрослые.

А потом был январь. Девятнадцатое, Крещение. Ночь была морозная, ясная, под тридцать. Дуня спала в своей комнате, за печью, под двумя одеялами. Мать уехала в Перевалов, у неё была смена. Бабка оставалась одна.

И ночью Дуня проснулась.

Она не знала, отчего. Было тихо. Дом пел ровно, как всегда, только где-то далеко, на краю этой ровной ноты, что-то будто дрогнуло. Она лежала с открытыми глазами и слушала. И услышала голоса.

На крыльце. За дверью, за сенями, за двумя стенами. Глухо, неразборчиво. Бабкин голос, тихий, ровный. И второй. Мужской. Низкий. Тоже тихий. Слов было не разобрать. Только интонации. Бабка говорила спокойно, почти ласково, как говорят с больным. Мужчина отвечал отрывисто, коротко. Потом бабка сказала что-то громче. Одно слово, или два. Дуня не разобрала. Потом тишина.

Потом звук. Короткий, глухой. Как будто на крыльцо уронили мешок.

Потом опять тишина.

Дуня лежала, не дыша. Ей было страшно. Не потому, что она поняла, что случилось. Она ничего не поняла. Ей было страшно, как бывает страшно во сне, без причины. Она натянула одеяло на голову и лежала так, пока не уснула снова.

Утром её разбудила Варвара. Варвара кричала. Варвара кричала так, что Дуня до сих пор, двадцать один год спустя, иногда слышала этот крик во сне.

Бабку нашли у крыльца. Она лежала у нижней ступеньки, в одном платье и шерстяных носках, без валенок, без платка, лицом в снег. Голова у неё была разбита о край ступени. Снег вокруг был красным. Участковый, старый Пахомов, сказал: поскользнулась. На ступеньках наледь. Вышла ночью, видно, по нужде или скотину проверить, поскользнулась и упала. Возраст. Семьдесят восемь лет. Бывает.

Дуня никому не сказала про голоса.

Она решила, что это был сон. Ей и правда казалось, что сон: слишком тихо, слишком неразборчиво, слишком похоже на её детские кошмары. А потом всё закрутилось: похороны, поминки, мать, которая приехала и плакала, Варвара, которая пила корвалол стаканами, Толя, который носил гроб и копал могилу на мёрзлом кладбище. А через месяц мать собрала вещи

и уехала в Перевалов насовсем. Звала Дуню с собой. Дуня отказалась. Устроила истерику, кричала, что не бросит бабкин дом. Мать плакала, уговаривала, потом махнула рукой и уехала одна. Дуня осталась у Сенцовых. Дотянула у них до конца школы. А в восемнадцать вернулась в бабкин дом. Насовсем.

И холодное пятно на третьей ступеньке крыльца было уже тогда. Дуня заметила его в первую же неделю. И всё эти годы переступала через него не глядя.

Не поскользнулась, подумала она сейчас, стоя у тёмного окна. Бабка вышла ночью на крыльцо в одном платье, без валенок, чтобы с кем-то поговорить. С мужчиной. А потом упала. Или…

Дуня не позволила себе додумать.

У Сенцовых погас свет в кухне. Красный огонёк у навеса вспыхнул в последний раз и упал на землю, рассыпавшись искрами.

Телефон на столе зажужжал.

Дуня вздрогнула так, что чуть не уронила лампу. Посмотрела на экран. Незнакомый номер. Половина первого ночи. Она взяла трубку.

– Евдокия Михайловна? Это Зуев. Извините, что поздно. Вы не спите?

– Нет.

– Я тоже. – Он помолчал. – Знакомый мой из района позвонил. Только что. Он, оказывается, сам по ночам работает, у него дежурство. Посмотрел. Как, прошу не спрашивать.

– Не буду.

– Телефон Ткачёва. Номер в сети. Включается редко, раз в несколько дней, ненадолго. Последний раз в среду. В четырнадцать двадцать. Сообщение матери ушло в четырнадцать двадцать две. Потом телефон выключили.

– Где? – спросила Дуня, хотя уже знала.

– Перевалов, – сказал Зуев. – Центр. Район рынка и автостанции. Не север, Евдокия Михайловна. Не вахта. Сорок минут отсюда.

Дуня молчала.

– И ещё, – сказал Зуев. – Я попросил его глянуть, где телефон был в ночь на тридцатое августа. Это сложнее, он сказал, но попробует. Завтра. – Пауза. – Вы меня слышите?

– Слышу.

– Вы были правы. Не во всём, может быть. Но насчёт вахты были правы. Его там нет.

– Я знаю, где он, – сказала Дуня тихо.

– Не говорите этого, – сказал Зуев. – Пожалуйста. Пока не говорите. Мне нужно что-то, кроме снов. Мне нужно хоть что-то, что я смогу показать начальству. Пока у меня только телефон, который включается в Перевалове. Это не преступление. Может, он там квартиру снимает и от мамы прячется. Может, в долгах. Может, в секту попал. Я завтра поеду к матери. Поговорю с ней по-человечески. Может, она что-то вспомнит.

– Поезжайте.

– А вы?

– А я, – сказала Дуня и посмотрела на тетрадь под лампой, на синюю коленкоровую обложку, на ровные строчки тарабарщины, – а я займусь деревом. И кирпичом. Дом ведь из чего-то сложен, Антон Сергеевич. Мне надо знать, из чего.

– Будьте осторожны, – сказал Зуев. – Евдокия Михайловна. Я серьёзно.

– Я всегда осторожна.

Она положила телефон на стол экраном вниз. Посидела. Потом встала, вышла в сени, отодвинула щеколду и открыла дверь на крыльцо.

Ночь была холодная, ясная, звёздная. Над полем висел тонкий серп луны. Пахло палой листвой, дымом и рекой.

Дуня спустилась на третью ступеньку и села на неё. Прямо на холодное пятно. Холод сразу пошёл вверх, сквозь юбку, сквозь кожу, по спине, к затылку. Тяжесть. Темнота. Холод снизу.

Она сидела, стиснув зубы, и не вставала.

– Бабушка, – прошептала она. – Кто к тебе приходил?

Дом не ответил. Дом пел ровно, на одной ноте. Только ступенька под ней, кажется, стала ещё холоднее. Как будто кто-то очень старый и очень усталый положил ей на плечо ледяную руку и сказал: «Рано, Дуняша. Рано ещё».

Глава 8. Пилорама

Пилорама Барминых стояла на самом краю деревни, за последними огородами, там, где дорога сворачивала к реке и превращалась в две колеи в песке. Раньше здесь был колхозный лесопильный цех: длинный сарай из почерневших досок, навес на столбах, ржавый козловой кран, давно уже не работающий. После развала колхоза цех выкупила Нина Бармина, за копейки, у самой себя, как говорили в деревне злые языки, и посадила туда сына. Кирилл пилораму поднял. Поставил новую ленточную пилу, купил грузовик, нанял троих мужиков, и теперь со всей округи к нему возили лес и увозили брус, доску, вагонку. Деньги у Барминых водились. Злые языки и об этом говорили.

Дуня пришла в понедельник с утра. Ещё издали она услышала визг пилы, высокий, режущий, и почувствовала запах: свежий, смолистый, сладкий. Так пахнет только что распиленная сосна. Этот запах она любила с детства, и сейчас он почему-то её не обрадовал.

Во дворе пилорамы, среди штабелей досок и гор опилок, стоял грузовик с прицепом-лесовозом, гружёный брёвнами. Двое мужиков в оранжевых жилетах скатывали брёвна по слегам на землю. Третий, седой, сутулый, в ватнике, сидел на чурбаке у входа в цех и курил. Это был Фомич, Пётр Фомич Карасёв, самый старый работник на пилораме, ещё колхозный. Дуня лечила ему дом два года назад, когда у него умерла жена.

– Евдокия! – Фомич поднялся, обрадованный. – Каким ветром?

– Здравствуйте, Пётр Фомич. Кирилл тут?

– В конторке. – Фомич мотнул головой на маленькую бытовку у ворот. – Злой сегодня. С утра уже двоих облаял. Ты к нему зачем?

– Про брус спросить. Который на горку возили.

Фомич перестал улыбаться.

– На горку, – повторил он. – Слышал я, ты там была. Чего, правда, что дом больной?

– Правда.

– Ох ты. – Фомич покачал головой. – Так ты что, думаешь, это наш брус виноват?

– Не думаю. Проверить хочу.

– Проверяй, – сказал Фомич. – Только не советую к Кирюхе с этим. Он сегодня не в духе. Ты давай вот что. Пойдём, я тебе сам покажу. Тот брус, что на горку шёл, мы в июле пилили. Хорошая партия была, сосна с Ветлужского бора, ровная. Там ещё остатки лежат, Кочетов не всё забрал.

Он повёл её за цех, к дальнему навесу. Там, под шифером, на прокладках, лежали штабели бруса, светлого, почти белого, с медовыми прожилками. Брус был толстый, сто пятьдесят на двести, такой идёт на балки перекрытий. Сверху на штабеле кто-то написал мелом: «Кочет. остаток».

Дуня подошла, положила ладонь на верхний брус.

Дерево было живым. Это было первое, что она почувствовала. Распиленное, высушенное, оно всё равно хранило голос, как хранит голос скрипка, сделанная из старой ели. Голос сосны был высоким, звонким, смолистым. Но сейчас в нём было что-то ещё. Не крик, нет. Не то, что в доме на горке. Скорее раздражение. Глухое, ворчливое, горячее. Как бывает, когда человек долго злится и не может выплеснуть злость наружу, и она в нём кипит, кипит, как суп под крышкой.

Дерево было злым.

Дуня провела рукой вдоль бруса, от торца к торцу. Злость была ровной, по всей длине, будто въелась в волокна. И ещё в ней был страх. Слабый, на самом дне. Старый, детский.

– Ну? – спросил Фомич за спиной.

– Злое, – сказала Дуня.

– Чего?

– Дерево у вас злое, Пётр Фомич. Кто его пилил?

Фомич почесал затылок.

– Так Кирюха и пилил. Сам. Он на ленточной сам любит стоять, никого не подпускает. Говорит, у нас руки кривые.

– А в июле он злой был?

Фомич хмыкнул.

– Да он всегда злой. Сколько его помню. Как с детства головой стукнулся, так и злой. – Фомич помолчал. – Это ж ты знаешь. После той драки в клубе. Хотя он и до того был не сахар. Мать его держит в кулаке, вот он и бесится.

– А в июле? Особо?

Фомич подумал.

– Особо… Ну, в июле у него с одним парнем было. С кочетовских. Из Перевалова. Рыжий такой, здоровый, весёлый.

Дуня обернулась.

– Рома?

– Он. – Фомич кивнул. – Ромка. Он к нам в июле подрабатывать ходил, на выходных. Брус грузить, на машину кидать. Кирюха ему обещал по три тыщи за выход. А заплатил за два выхода из шести. Ромка-то пришёл в конце августа, перед тем как уехать, говорит, отдавай. Кирюха ему: какие деньги, ты половину брёвен поцарапал, я тебе за ущерб вычел. Ну, слово за слово. Ромка ему: ты, говорит, совсем, у тебя мать глава, а ты рабочим не платишь. Кирюха его и толкнул. Ромка тоже не стерпел. Ну и сцепились. Прямо вон там, у ворот.

– Когда это было?

– Двадцать восьмого. Или двадцать седьмого. В конце августа. Я хорошо помню, потому что в тот день как раз Кочетову последнюю партию отгружали, вот эту самую. – Фомич похлопал ладонью по штабелю. – Ромка уехал злой, с разбитой губой. А Кирюха ещё весь вечер бесился, пилу сломал. Ленту порвал. А потом Ромка, говорят, на вахту укатил, так и не получил своего.

Дуня стояла, держа ладонь на злом брусе, и думала. Двадцать восьмое августа. Драка. Разбитая губа. Через день Рома исчезает.

– Пётр Фомич, а Кирилл двадцать девятого вечером где был?

Фомич посмотрел на неё внимательно.

– А ты чего это спрашиваешь, Евдокия? – тихо сказал он. – Ты чего думаешь-то?

Она не успела ответить.

– Чего она тут делает?

Голос раздался от угла цеха. Громкий, хрипловатый, с тяжёлой злостью. Дуня обернулась.

Кирилл Бармин стоял, расставив ноги, в рабочей куртке нараспашку, и смотрел на неё. Он был крупный, плотный, широкоплечий, с короткой шеей и тяжёлой головой. Волосы у него были рыжеватые, коротко стриженые, и сквозь них на левом виске просвечивал старый шрам, длинный, кривой, как трещина на штукатурке. Лицо было бы красивым, если бы не выражение: постоянная, въевшаяся настороженность, как у собаки, которую часто бьют.

– Здравствуй, Кирилл, – сказала Дуня.

– Фомич, я тебе чего сказал? Посторонних на территорию не пускать.

– Да какая ж она посторонняя, Кирюх. Это ж Дуня.

– Мне по барабану, кто. – Кирилл подошёл ближе. – Чего надо?

– Брус посмотреть, – сказала Дуня спокойно. – Который на горку шёл.

– Зачем?

– Дом больной. Хочу понять, от чего.

– От того, что строят его на пожарище, вот от чего. – Кирилл скривился. – Мне мать говорила, что ты там чудишь. Убийство какое-то придумала. Ну ты даёшь, Ремезова. Ты нормальная вообще?

– Не знаю, – сказала Дуня. – Иногда думаю, что нет.

Её спокойствие, кажется, разозлило его ещё больше.

– Брус у меня нормальный. Сосна первый сорт. Влажность восемнадцать процентов, я мерил. Кочетов принимал, у него претензий не было. Ты ещё скажи, что я ему порченый подсунул.

– Не порченый. Злой.

– Чего?

– Ты его зло пилил, Кирилл. Дерево запомнило.

Кирилл смотрел на неё секунду, другую, и Дуня видела, как в его глазах злость борется с чем-то ещё. С растерянностью. С тем самым старым детским страхом, который она почувствовала в брусе.

– Иди отсюда, – сказал он тихо. – Слышь? Иди. И чтоб я тебя тут больше не видел.

– Ладно. – Дуня убрала руку с бруса. – Только один вопрос.

– Никаких вопросов.

– Ты двадцать девятого августа вечером где был?

Пауза была короткой, но Дуня её услышала. Как слышат паузу в пении дома, когда нота вдруг обрывается.

– А тебе какое дело? – выговорил Кирилл.

– Рома Ткачёв пропал, – сказала Дуня. – Двадцать девятого. На следующий день после того, как вы с ним подрались.

Фомич охнул. Кирилл побелел. Не покраснел, как краснеют от злости, а именно побелел, так что шрам на виске проступил тёмной полосой.

– Он на вахту уехал, – сказал он.

– Не уехал.

– Уехал! – Кирилл шагнул к ней. – Он мне сам писал! В сентябре! «Кирилл, отдай деньги, а то в полицию пойду». Ну, писал, может, не мне, а там… – он запнулся. – Короче, писал! Значит, живой!

– Покажи.

– Не буду я тебе ничего показывать. Ты кто такая? Иди отсюда, я сказал!

Он стоял совсем близко, тяжело дыша, сжав кулаки. Дуня не отступила. Она смотрела ему в глаза и слушала. Не его слова, а то, что под ними. Под злостью была паника. Под паникой страх. А под страхом, глубоко, на самом дне, то, что она уже почувствовала в брусе: что-то старое, детское, давно и намертво запертое.

– Кирилл, – сказала она негромко. – Ты на горку ходишь?

Это был выстрел наугад. Но он попал. Кирилл отшатнулся, будто она его ударила.

– Нет, – сказал он. – Не хожу. С детства. – И вдруг закричал, так что двое мужиков у грузовика обернулись: – Пошла вон отсюда! Вон! Фомич, проводи её! Ещё раз увижу – собак спущу!

Он развернулся и ушёл в цех. Через секунду завизжала пила.

Фомич проводил Дуню до ворот. Шли молча. У ворот старик остановился, оглянулся на цех и сказал вполголоса:

– Ты это… Евдокия. Ты зря его так. Он, конечно, дурной. Но не убийца. Я его с пелёнок знаю.

– Я его ни в чём не обвиняю, Пётр Фомич.

– Как не обвиняешь? Спросила же, где был.

– Спросила. А он не ответил.

Фомич вздохнул.

– Он вечером двадцать девятого тут был. До ночи. Пилу чинил, ленту новую ставил. Я в девять ушёл, он ещё тут был. А дальше не знаю. – Он помолчал. – А на горку он правда не ходит. Это верно. С тех пор как дом Ширяевых сгорел. Ему тогда тринадцать было, он первым на пожар прибежал. С тех пор и не ходит. Даже на рыбалку на омут не ходит, в обход идёт. Нина его к психологу в Перевалов возила, он там стул сломал. Вот так.

– Первым прибежал, – повторила Дуня.

– Ну, одним из первых. Там ещё Толя Сенцов был, и Тихон Голубев, председатель. Кирюха-то пацаном был, он с рыбалки шёл поздно, увидел зарево. А больше ничего не знаю. – Фомич махнул рукой. – Давно было.

Дуня шла от пилорамы по песчаной колее и думала. Злое дерево. Детский страх. Драка с Ромой. Деньги. Сообщение, которое Кирилл не захотел показать. И пожар, на который он прибежал первым, в тринадцать лет.

У поворота к деревне её догнала машина. Не «буханка». Белая «нива» с синей полосой и надписью на боку. Зуев притормозил, опустил стекло.

– Садитесь, – сказал он. – Я вас искал.

Она села. В машине пахло табаком, хотя Зуев не курил, и кофе из термоса.

– Я был у Ткачёвой, – сказал он, трогаясь. – Утром, после её ночной смены. Хорошая женщина. Усталая. Мы долго разговаривали.

– И?

– И она написала заявление. – Зуев смотрел на дорогу. – Я её не уговаривал. Сама. Я ей показал сообщения, которые Роман присылал Степану, старые и последнее. Она посмотрела и заплакала. Говорит, это не он писал. Он так не пишет. Он даже «извините» не знает, как пишется. Ну и написала. Теперь это официально. Розыск пропавшего без вести.

– Хорошо, – сказала Дуня тихо.

– Хорошего мало. Но да. Теперь я могу хотя бы официально запросить данные по телефону. И опросить людей. – Он помолчал. – И ещё. Она мне рассказала про последний звонок. Голосом. Двадцать девятого августа, вечером, около восьми. Рома позвонил ей с работы. Весёлый был, возбуждённый. Говорит: «Мам, я тут такую штуку нашёл, старинную. Может, денег стоит. Я у местных спрошу, чьё это. Если ничьё, продам и тебе холодильник новый куплю». Она спросила, что за штука. Он сказал: «Потом покажу. Красивая. Серебряная, кажется». И всё. Больше голосом не звонил.

Дуня закрыла глаза.

«Я ж просто спросить хотел. Чьё это».

– Колокольчик, – сказала она.

– Что?

– Серебряный колокольчик. Маленький. Он его нашёл в траншее. Под старым сараем. И пошёл спрашивать у местных, чьё это.

Зуев притормозил, свернул на обочину и остановился. Посмотрел на неё.

– Откуда вы знаете?

– Из сна, – сказала Дуня. – Антон Сергеевич, вы просили что-то кроме снов. Вот вам. Его мать говорит: нашёл серебряную вещь и пошёл спрашивать. Я говорю: во сне у него в руке звенело. Это не одно и то же, но и не разное.

Зуев молчал. Пальцы его постукивали по рулю.

– Ещё мать сказала, что у Ромы был конфликт с кем-то на пилораме, – сказал он наконец. – Из-за денег. Он ей жаловался. «Кирилл с пилорамы, сынок главы, не платит, жмот». Я как раз туда ехал.

– Я оттуда, – сказала Дуня. – Они подрались двадцать восьмого. У Ромы губа разбита была. Кирилл двадцать девятого вечером на пилораме был, до ночи, Фомич ушёл в девять.

Дальше никто не знает. Кирилл говорит, Рома ему в сентябре писал, требовал деньги. Сообщение показать отказался. И на меня собак спустить обещал.

Зуев присвистнул.

– Вы прямо следователь.

– Я знахарка, – сказала Дуня. – Знахарке тоже надо знать, кто где был. Только Кирилл не убивал.

– Почему вы так думаете?

– Брус злой, но не убитый. Если бы Кирилл убил, он бы этот брус уже не мог пилить. Дерево бы почернело у него под руками. – Дуня помолчала. – Это не доказательство, я знаю. Но он боится не того. Он боится чего-то старого. Очень старого. С детства.

– С пожара, – сказал Зуев. – Вы мне говорили, тут пожар был двадцать два года назад.

– Он туда первым прибежал. В тринадцать лет. С тех пор на горку не ходит.

Зуев снова тронул машину.

– Я всё равно с ним поговорю, – сказал он. – Официально. Пусть покажет сообщение. Если Рома правда ему писал в сентябре, это интересно. Потому что тогда выходит, что Ромин телефон пишет не только матери и Степану, но и тем, с кем у него конфликт. Кто-то, кто знает про конфликт. Местный.

– Местный, – повторила Дуня.

– И ещё одно. – Зуев глянул на неё. – Знакомый мой сказал насчёт ночи на тридцатое августа. Телефон Ромы последний раз был в сети в двадцать три сорок. Здесь. В Сухой Луке. Вышка на водонапорной башне, она покрывает всю деревню и горку. А потом выключился. И включился только тридцатого вечером. В девятнадцать сорок. Когда Степану ушло сообщение.

– Где включился?

– В Перевалове. На той же вышке, что в среду. Центр, рынок, автостанция.

Дуня посмотрела в окно. Мимо плыли деревенские дома, палисадники, рябины. Магазин Нины. Остановка с синей крышей. Клуб.

– Кто тридцатого вечером ездил в Перевалов? – спросила она.

– Вот это я и буду выяснять. – Зуев покачал головой. – Евдокия Михайловна. Тридцатого было воскресенье. В воскресенье вечером в Перевалов ездит полдеревни. Кто детей в общежитие везёт, кто к родне, кто на работу к понедельнику. Автобус ходит, машины. Это ничего не даст.

– А в среду? Позавчера?

– В среду меньше. Но тоже много. – Он помолчал. – Хотя. Это уже можно сравнивать. Кто ездил и тридцатого, и в среду, и ещё в те дни, когда телефон включался. Если таких дней несколько… – Он не договорил, задумался.

«Нива» остановилась у Дуниной калитки. Зуев не заглушил мотор.

– Я поехал к Бармину, – сказал он. – Вы дома будете?

– Буду.

– Если что, позвоню.

Дуня вылезла из машины. Уже закрывая дверцу, она остановилась.

– Антон Сергеевич. Вы у Кирилла спросите, кто ещё был на пожаре. Первыми. Кроме него.

– Зачем?

– Не знаю, – сказала Дуня. – Просто спросите.

Он кивнул и уехал.

У калитки Сенцовых было пусто. Варвара, видно, ушла в дом. Под навесом стояла «буханка» с открытым капотом, и из-под капота торчали Толины ноги в рабочих ботинках. Толя что-то чинил, тихо матерясь. Услышав, что хлопнула калитка, он вылез, вытирая руки, и помахал.

– Участковый тебя катает? – спросил он с улыбкой. – Смотри, Варвара уже свадьбу планирует.

– Пусть планирует, – сказала Дуня.

Толя засмеялся.

– Чего он хотел-то?

– Рома Ткачёв пропал. Тот, что у Кочетова работал. Мать заявление написала.

Толя перестал улыбаться. Медленно вытер руки ветошью, бросил ветошь на крыло.

– Да ты что, – сказал он. – Ромка? Рыжий такой? Так он же уволился.

– Не уволился. Пропал.

– Ох ты. – Толя покачал головой. – Вот беда-то. Мать-то как, наверно… Хороший парень был. Весёлый. Я с ним проводку на втором этаже тянул, он мне кабель подавал. Ничего не боялся, на балки лазил, как кошка. – Он помолчал. – Может, найдётся ещё. Молодой, загулял где-нибудь.

– Может, – сказала Дуня.

Она поднялась на крыльцо и перешагнула через третью ступеньку.

Зуев позвонил поздно вечером, когда она уже собиралась ложиться.

– Показал, – сказал он без предисловий. – Не сразу. Сначала орал, потом мать его прибежала из магазина, тоже орала, на меня. Глава поселения, говорит, я на вас жалобу напишу. А потом Кирилл сел на чурбак, достал телефон и показал. Молча.

– Что там?

– Девятое сентября. Пятнадцать десять. «Кирилл, отдай деньги, а то в полицию пойду, понял. Рома». С запятыми. С точкой. И с подписью, хотя номер и так подписан. – Зуев помолчал. – Кирилл ответил матом. Больше сообщений не было.

– Девятое сентября, – сказала Дуня. – Где был телефон?

– Узнаю завтра. Но спорю на что угодно, что в Перевалове. – Пауза. – Евдокия Михайловна. Кто-то знал про драку. Кто-то знал, что Рома с Кириллом поругался из-за денег, и написал так, чтобы Кирилл поверил, что Рома жив. Или чтобы потом, если начнут искать, подумали на Кирилла. Мол, Рома ему угрожал полицией, а Кирилл…

– А кто знал про драку?

– Все, – сказал Зуев устало. – Вы сами сказали, у ворот дрались, при мужиках. Мужики разнесли. К вечеру знала вся деревня.

– А про пожар спросили?

– Спросил. Он посмотрел на меня так, как будто я ему нож показал. Сказал: «Не помню я ничего. Пацаном был». И ушёл в цех. – Зуев помолчал. – Вы были правы, он боится. Только я не понимаю чего.

– Я тоже, – сказала Дуня.

Она положила трубку и долго лежала в темноте с открытыми глазами. Дом пел ровно. На крыльце, на третьей ступеньке, лежал холод.

Глава 9. Чужие кирпичи

– Школьный, – сказал Степан и постучал костяшками пальцев по стене. – Вот этот ряд, и вон тот, и весь цоколь с северной стороны. И перегородки в подвале. Глеб Арсеньевич у поселения купил, когда школу разбирали. Нина Павловна продала за полцены. Кирпич хороший, старый, тогда на совесть делали. Не то что сейчас.

Дуня стояла у северной стены и смотрела. Она сразу не заметила, а теперь видела: кирпич в нижних рядах был другим. Темнее, плотнее, с неровными краями, местами со сколами и следами старого раствора, который не до конца отбили. На некоторых кирпичах проступало клеймо, вдавленное в глину: буквы «П» и «К», и цифры. Перваловский кирпичный, пятьдесят шестой год.

– Много его?

– Тысячи четыре. На цоколь, на подвал, на внутренние стены первого этажа. Остальное новое, облицовочное.

Дуня положила ладонь на старый кирпич.

Сначала был крик. Он здесь был везде, он пропитал весь дом, от подвала до балок, и через него трудно было услышать что-то ещё. Дуня закрыла глаза и стала ждать, как ждут, пока глаза привыкнут к темноте. Крик никуда не делся, но постепенно отступил, стал фоном, и сквозь него, как сквозь шум дождя, проступило другое.

Голоса. Много голосов. Детских. Звонких, перебивающих друг друга. Смех. Топот. Звонок, далёкий, дребезжащий, тот самый старый школьный звонок, который висел в коридоре у учительской и который дёргала за верёвку тётя Шура, техничка. Скрип парт. Скрип мела по доске. Запах. Она не могла чувствовать запах через кирпич, но чувствовала: мокрые валенки на батарее, хлорка в туалетах, булочки с повидлом в столовой, чернила, мастика, которой натирали полы перед праздниками.

Это была её школа.

Дуня училась в ней девять лет, с первого класса по девятый, пока школу не сделали начальной, а старших не стали возить на автобусе в Перевалов. Она знала эти кирпичи. Знала каждую трещину в стенах, каждое пятно на потолке спортзала, каждую скрипучую половицу в коридоре второго этажа. Она прислонялась к этим кирпичам спиной на переменах, когда стояла у окна и смотрела на реку. Она выцарапывала на них своё имя гвоздём, в шестом классе, на заднем дворе, и получила за это от директора и от бабки, от бабки сильнее.

Голоса текли сквозь неё, как вода. Она узнавала некоторые. Митька Голубев, рыжий, громкий, вечно в синяках. Танька Колесова, отличница, задавака. Оля, будущая Лапина, тогда Оля Сычёва, хохотушка. И ещё голоса, совсем маленькие, тех, кто учился после неё. И голоса взрослых. Учительница математики, Анна Семёновна, строгая, в очках на цепочке. Директор, Пал Палыч. Тётя Шура со своим звонком.

А под голосами, на дне, была печаль. Тихая, светлая, усталая. Так печалится старый дом, из которого все разъехались. Так печалятся вещи, которые долго служили, а потом стали не нужны. Это была печаль последнего звонка. Последнего урока. Последнего дня, когда в коридорах ещё топали, а потом заперли двери, и стало тихо, и в окна полетели камни, и с крыши начали воровать железо, и школа стояла пустая восемь лет, пока её не разобрали на кирпич.

Крови в этой печали не было. Ни капли.

Дуня открыла глаза. Щёки у неё были мокрые. Она не заметила, когда заплакала.

– Евдокия Михайловна? – Степан смотрел на неё с испугом. – Ты чего?

– Ничего. – Она вытерла лицо рукавом. – Хороший кирпич, Степан. Ты прав. На совесть делали.

– А больной?

– Грустный. Не больной. От этого не болеют. От этого вспоминают.

Она пошла вдоль стены, касаясь кирпичей пальцами. Старые, новые. Новые молчали, только кричали общим криком дома. Старые шептали голосами детей. Она дошла до угла, до того места, где северная стена встречалась с восточной, и остановилась.

На одном кирпиче, почти у самой земли, было что-то нацарапано. Неровные буквы, полустёртые временем. Дуня присела на корточки, провела по ним пальцем.

«ДУНЯ Р. 6 Б».

Она смотрела на эти буквы и не могла поверить. Из четырёх тысяч кирпичей, из целой школы, из десятков тысяч, которые увезли на свалку, раскрошили, растащили по огородам, именно этот попал сюда. В этот дом. В этот угол. И оказался прямо у неё перед глазами.

– Что там? – спросил Степан.

– Моё, – сказала Дуня. – В шестом классе написала. Бабка меня за это крапивой.

Степан нагнулся, прочитал, хмыкнул.

– Надо же. Судьба, значит.

– Судьба, – согласилась Дуня. И подумала: нет, не судьба. Дом сам меня позвал. Он с самого начала знал, кто придёт его лечить. Он взял мой кирпич, чтобы я пришла.

Она встала.

– Где ещё старый кирпич?

– В подвале. Перегородки. Котельная, кладовка.

Дуня посмотрела на проём в полу, на лестницу-времянку, уходящую в темноту. Сделала шаг. Ноги не пошли.

– Ладно, – сказала она. – Потом.

Она вышла из дома и долго стояла на площадке, глядя на реку. Степан ушёл к вагончику. Небо затягивало серыми облаками, с севера тянуло холодом. Скоро польют дожди, подумала она. Октябрьские, затяжные. А у дома нет крыши.

– Значит, не кирпич, – сказал Кочетов у неё за спиной. Он подъехал, пока она была внутри, и, видимо, слышал разговор со Степаном.

– Не кирпич, – сказала Дуня. – И не брус. Брус злой, кирпич грустный. Но не это. Это из земли. Из-под дома.

– Из-под сарая, – сказал Кочетов тихо.

Она обернулась к нему. Он стоял, засунув руки в карманы, и смотрел туда же, куда она: на реку, на излучину, на тёмную воду под ивами у того берега.

– Глеб Арсеньевич, – сказала Дуня. – Я хочу поговорить с кем-нибудь, кто помнит. Не Варвару, она плачет. Не Нину, она злится. Кого-то, кто тогда что-то решал.

– Голубев, – сказал Кочетов, не задумываясь. – Тихон Ерофеевич. Бывший председатель. Он тогда был депутатом сельсовета, всё через него шло. Живёт у старой школы, в зелёном доме с флюгером.

– Вы с ним говорили?

– Пытался. Он меня выгнал. – Кочетов криво усмехнулся. – Сказал, что городским тут делать нечего и что я ему дорогу к реке своим забором перекрыл. Вас, может, не выгонит. Вы местная.

– Меня он тем более выгонит. Моя бабка его перед всей деревней опозорила.

– Тогда тем более сходите, – сказал Кочетов. – Кто опозорен, тот помнит.

Дом Голубева стоял на пригорке у старой школы, вернее, у того, что от неё осталось: фундамент, заросший бурьяном, груды битого кирпича, кривой турник, на котором когда-то подтягивались мальчишки. Дом был большой, крепкий, зелёный, с высоким забором и флюгером на коньке в виде петуха. Петух был ржавым и не вертелся.

Дуня постучала в калитку. Залаяла собака, большая, судя по голосу. Потом хлопнула дверь, и старческий голос крикнул:

– Кого надо?

– Тихон Ерофеевич, это Ремезова. Евдокия.

Пауза. Собака лаяла. Потом зашаркали шаги, и калитка открылась на цепочку. В щели показалось лицо: длинное, костистое, морщинистое, с белой щетиной на впалых щеках и маленькими, острыми, совсем не старческими глазами.

– Матрёнина внучка, – сказал Голубев. – Чего надо?

– Поговорить.

– О чём?

– О Ширяевых.

Глаза в щели сузились.

– Иди-ка ты, внучка, туда, откуда пришла.

– Тихон Ерофеевич. – Дуня не двинулась. – Ваш дом мёрзнет.

– Чего?

– Ваш дом мёрзнет. Я отсюда слышу. Вы в нём сколько лет одни живёте? Пять? Шесть? С тех пор как Анна Петровна померла. И мёрзнете. Хотя котёл у вас газовый, хороший, я по трубе вижу. Вы всё равно в валенках по дому ходите и в двух свитерах. И спите плохо. И по ночам вам кажется, что кто-то на крыльце стоит.

Голубев молчал. Собака перестала лаять.

– Откуда знаешь? – спросил он наконец, глухо.

– Оттуда же, откуда бабка знала. Пустите?

Цепочка звякнула. Калитка открылась.

В доме у Голубева было холодно. Не так, как бывает холодно в нетопленом доме, а так, как бывает холодно в погребе, сыро и затхло, хотя батареи под окнами были горячими. Дуня это почувствовала сразу, на пороге, и ей не надо было класть ладонь на стену. Старый дом мёрз давно, годами, и привык мёрзнуть, как привыкает к боли старый больной. Это был холод вины. Бабка различала их: холод горя, холод одиночества, холод вины. Холод вины самый стойкий. Он не уходит, сколько ни топи.

Голубев усадил её в большой комнате, у стола под клеёнкой, сам сел напротив, в кресло, укутался в плед. Он был в валенках и в двух свитерах. Собака, огромная кавказская овчарка, легла у его ног и не сводила с Дуни глаз.

– Ну, – сказал Голубев. – Спрашивай. Только чаю не предложу, нечего тебе у меня рассиживаться.

– Что было с Алей Ширяевой?

– Утонула.

– Вы в это верите?

Голубев усмехнулся, показав жёлтые зубы.

– А какая разница, верю я или нет? Туфлю нашли. Водолазы искали. Не нашли. Омут глубокий, там под берегом ямы, коряги. Утонула. Так записано.

– Кто записал?

– Милиция записала. Районная. Я подписал как депутат. Нина подписала как фельдшер. Что ещё?

– А дед Илья?

Голубев помолчал. Пожевал губами.

– Дед Илья с ума сошёл, – сказал он наконец. – От горя. Это бывает. Ходил по деревне, кричал. Что убили её. Что знает кто. Ко мне приходил. Требовал, чтобы я в район написал, чтобы следователя прислали. Я ему говорю: Илья, какой следователь, девка утонула, все видели туфлю. А он мне: она в воду не ходила, она воды боялась с детства, она плавать не умела. Ну, кричал так.

– Она плавать не умела?

– Почём я знаю? Он так говорил. – Голубев махнул рукой. – Он много чего говорил. Что к ней ходил кто-то по ночам. Не мальчишка. Взрослый. Женатый. Что она с ним путалась, а он, Илья, не знал, кто. Что она ему не сказала. Что он её запирал, а она через окно бегала. Ну, кричал так, на всю улицу. Позорил девку мёртвую.

– А вы что?

– А я что? – Голубев вдруг подался вперёд, и в его острых глазах блеснула злость. – Я председатель был! У меня колхоз разваливался! У меня зарплату людям по полгода не платили! А тут он с этим. Если б я в район написал, что у меня в деревне девку убили, а не утонула она, ты знаешь, что бы тут началось? Следователи, проверки, комиссии. А у меня в бухгалтерии такое, что лучше не надо. Я ему сказал: Илья, успокойся. Иди домой. Выпей. Поспи. Он и пошёл.

– А осенью сгорел.

Голубев откинулся в кресле, будто она его толкнула.

– Сгорел, – сказал он тихо. – Запил он к осени. Сильно запил. Курил в постели. Дом старый, деревянный. Вот и сгорел.

– Вы на пожаре были?

– Был. Все были. Полдеревни сбежалось. Только тушить там уже нечего было. Полыхало до неба. Дом, сарай. Машина пожарная из Перевалова через час приехала, когда уже одни головешки.

– Кто прибежал первым?

– Почём я помню? Двадцать два года прошло.

– Тихон Ерофеевич.

Он помолчал, пожевал губами.

– Толя Сенцов, кажись. И пацан Нинкин, Кирюха. Они уже там были, когда я прибежал. Толя с ведром бегал от колодца, а Кирюха сидел на земле и трясся. Белый весь, как мел. Я его ещё за шиворот от огня оттаскивал, он ничего не соображал. – Голубев снова помолчал. – Ну а потом все. Варвара, Нина, Степан Гуляев, мужики. Матрёна твоя.

– Бабушка тоже была?

– Была. Позже всех пришла. Встала у забора и стоит. Не тушит, не кричит. Стоит и смотрит. Я ей говорю: чего встала, Матрёна, помогай. А она мне: «Тихон, тут уже не потушишь. Тут уже другое». И ушла. – Голубев поёжился под пледом. – А потом стала ночами туда ходить. Соль сыпать. Вся деревня знала. И никто ей ничего не говорил. Боялись.

– А вы? Вы акт подписывали?

– Подписывал, – сказал Голубев. – Причина пожара: неосторожное обращение с огнём, курение в состоянии алкогольного опьянения. Так эксперт из района написал. Я подписал.

– Вы в это верите?

Голубев долго молчал. Собака у его ног вздохнула и положила голову на лапы. В доме было тихо и холодно. Часы на стене, старые, с маятником, тикали медленно, с запинкой, словно им было трудно.

– Иди-ка ты домой, внучка, – сказал он наконец. – Хватит. Я тебе всё сказал. Больше не скажу.

– Тихон Ерофеевич. Ваш дом не перестанет мёрзнуть.

– А мне всё равно. Мне восемьдесят один год. Я скоро помру. Пусть мёрзнет.

– Он после вас мёрзнуть будет. Вашим детям.

– Нету у меня детей. Митька в Москве, не приезжает. Внуков не видел ни разу. Некому тут мёрзнуть. – Он отвернулся к окну. – Иди.

Дуня встала. Уже у двери она остановилась и обернулась.

– Тихон Ерофеевич. Вы сказали, Илья кричал, что знает, кто к Але ходил. А потом сказали, что он не знал. Так знал или нет?

Голубев не повернулся. Он смотрел в окно, на заросший фундамент школы, на кривой турник, на серое небо.

– Он говорил, догадывается, – сказал он глухо. – Перед самым пожаром. За неделю. Пришёл ко мне, трезвый, тихий. Сказал: «Тихон, я, кажись, знаю. Мне только проверить. Проверю, пойду в район. Ты мне тогда не мешай». Я спросил: «Кто?» А он: «Не скажу пока. Ошибусь, человека опозорю. Он в каждом доме свой». И ушёл. А через неделю сгорел.

– «Он в каждом доме свой», – повторила Дуня.

– Так и сказал. – Голубев наконец обернулся, и в его маленьких острых глазах было что-то, чего Дуня не ожидала: страх. Старый, высохший, как прошлогодний лист. – Иди, внучка. Иди. И это… Матрёне на могилу сходи. От меня. Скажи: Тихон кланяется.

Дуня вышла на улицу. Собака не залаяла ей вслед. Флюгер-петух на коньке скрипнул, будто хотел повернуться, и не смог.

Она шла домой по пустой улице и повторяла про себя: «Он в каждом доме свой». В Сухой Луке сто двадцать дворов. Кто в каждом доме свой? Фельдшер, которая лечила всех. Председатель, который всем давал работу. Почтальон, который носил всем пенсию. Печник. Плотник. Электрик. Священник из Покровки, который всех крестил и отпевал. Сосед, у которого все занимают соль. Да мало ли.

Она так и не додумала. На перекрёстке у магазина её окликнули, и это была Ольга Лапина, весёлая, румяная, с сумками.

– Дуня! Дунька! – Ольга схватила её за руку. – Спасибо тебе. Петька дома. Печь затопили, вчера всю ночь топили, тепло, как летом. И окна не плачут. И кошка вернулась. И он мне, представляешь, вчера цветы привёз из Перевалова. Хризантемы. Двадцать лет не возил.

– Я рада, Оль.

– Да ты не рада, ты вся белая. Ты чего? – Ольга заглянула ей в лицо. – Ты опять на горке была?

– Была.

– Ох, Дунька. – Ольга покачала головой. – Брось ты этот дом. Брось. Не твоё это.

– Моё, – сказала Дуня. – Там мой кирпич в стене, Оль. Из школы. Помнишь, я в шестом классе имя нацарапала?

– Помню. Тебя Матрёна тогда по всей деревне гоняла.

– Вот он там. В углу. «Дуня Р., шестой Б».

Ольга смотрела на неё долго, и весёлое лицо у неё медленно стало серьёзным.

– Ну, тогда твоё, – сказала она тихо. – Тогда, конечно, твоё.

На кладбище она пошла в тот же день, перед закатом. Не только потому, что попросил Голубев. Ей вдруг стало нужно.

Кладбище в Сухой Луке было старое, на песчаном бугре за деревней, под соснами. Ограды покосились, кресты потемнели, многие могилы заросли так, что не найти. Бабкина была ухожена: Дуня приходила сюда каждый месяц, красила оградку, сажала весной анютины глазки. Простой деревянный крест, табличка: «Ремезова Матрёна Ильинична. 1926–2005». И больше ничего. Бабка просила ничего больше не писать.

Дуня постояла, положила на могилу горсть конфет, как бабка любила, «Коровку». Сказала вслух:

– Тихон кланяется. Голубев.

Ветер прошёл по соснам, сверху посыпались сухие иглы.

– Он боится, бабушка. Он что-то знает и боится. И Кирилл боится. И Варвара. И Нина злится, значит, тоже боится. Вся деревня боится одного и того же. А я не знаю чего.

Сосны шумели. Где-то за бугром, на дороге, проехала машина.

Ширяевых хоронили в дальнем углу, у самой ограды, где начинался ельник. Дуня нашла их не сразу. Два креста, металлических, крашенных серебрянкой, облупленных. «Ширяев Илья

Матвеевич. 1931–2004». И рядом, чуть меньше: «Ширяева Вера Ильинична. 1951–1995». А с другой стороны, совсем маленький, деревянный, без холмика, просто крест, вбитый в землю: «Аля. 1988–2004». Без фамилии, без отчества. Могилы под ним не было, хоронить было некого. Кто-то из деревенских поставил, наверно, ещё тогда, в утешение деду.

У всех трёх крестов лежали свежие белые хризантемы. Крупные, городские, в целлофане, какие продают в Перевалове у рынка. Целлофан ещё не успел запотеть. Их положили сегодня.

Дуня долго стояла над этими цветами. Потом наклонилась и поправила целлофан у маленького креста, чтобы ветер не унёс.

– Глебушка, – сказала она тихо. – Значит, приходил.

Ей никто не ответил. Сосны шумели над головой, темнело, и с реки опять тянуло туманом.

Глава 10. Аля

Варвара пришла утром сама, с альбомом под мышкой. Альбом был старый, толстый, в бархатной бордовой обложке с золотым тиснением «Наша семья», и Варвара несла его, как несут икону, прижав к груди обеими руками.

– Ты вчера на кладбище была, – сказала она с порога. – Мне Ирка сказала. Видела тебя у Ширяевых.

– Была.

– Ну вот. – Варвара прошла на кухню, села за стол и положила альбом перед собой. – Я ночь не спала. Думала. Ты ведь всё равно не отстанешь. Ты в бабку. Та тоже, если вцепится, так до кости. Лучше уж я тебе сама расскажу, чем ты по деревне собирать будешь. Наврут тебе.

Дуня поставила чайник и села напротив.

Варвара раскрыла альбом. Фотографии в нём были вперемешку: старые чёрно-белые, с зубчатыми краями, цветные, выцветшие до желтизны, школьные, свадебные, похоронные. Варвара листала, не глядя, будто знала каждую страницу наизусть, и остановилась где-то посередине.

– Вот, – сказала она. – Последний звонок. Две тысячи третий. Толя тогда в школе проводку менял, его позвали, он и снял. У него фотоаппарат был, «Зенит», он всё снимал тогда.

На фотографии был школьный двор, тот самый, где теперь торчал кривой турник. Ученики стояли на ступеньках в несколько рядов: малыши впереди, старшие сзади. Белые банты, белые фартуки, пиджаки не по размеру. Дуня нашла себя сразу: тринадцатилетняя, тощая, с косой, в бабкиной кофте поверх школьного платья, хмурая, как всегда на фотографиях. Рядом Оля Сычёва, хохочет. Митька Голубев строит рожки Таньке Колесовой. А в самом последнем ряду, с краю, чуть в стороне от остальных…

– Аля, – сказала Варвара и тронула фотографию пальцем.

Девочка на снимке была выше всех. Длинные светлые волосы, распущенные, хотя на последний звонок полагались банты. Тонкое лицо, острый подбородок, глаза чуть раскосые, светлые, смеющиеся. Все вокруг смотрели кто куда: на учителей, на соседей, на небо. А она смотрела прямо в объектив, поверх голов, и улыбалась так, будто знала что-то, чего не знал никто. На ней была не школьная форма, а лёгкое платье в мелкий цветочек, и на запястье поднятой руки, которой она отводила волосы со лба, что-то блестело.

Дуня наклонилась ближе.

– Что это у неё?

– Браслет, – сказала Варвара. – Серебряный. С колокольчиком. Она его не снимала. Говорила, подарок. От кого, не говорила. Илья злился, хотел отобрать, а она кричала, что убежит. Звенела этим колокольчиком везде. Идёт по улице, а за версту слышно: динь-динь. Мы смеялись: Аля идёт, звонит, как корова на выпасе.

Дуня медленно выпрямилась.

– Колокольчик, – сказала она.

– Ну да. Маленький такой, с горошину. На цепочке. Чего ты?

– Ничего, тётя Варя. Рассказывайте.

Варвара закрыла альбом, положила на него ладони.

– Она хорошая была, Дуня. Ты не думай. Её в деревне не любили, говорили, гулящая, дикая. А она была просто… – Варвара поискала слово. – Живая. Слишком живая для нашей Луки. Ей бы в город, в институт, в театр какой-нибудь. Она пела хорошо. В клубе на праздниках пела, все плакали. А мать умерла, когда ей семь было, и дед её растил, а дед старый, строгий, он её любил, но не понимал. Она и бегала. Сначала с дачниками, с городскими, на

танцы в Покровку. Потом перестала. Последний год никуда не бегала. Дома сидела, читала. Тихая стала. Илья радовался, думал, взялась за ум.

– А на самом деле?

– А на самом деле… – Варвара помолчала. – Она мне один раз сказала. Весной, в апреле, я её у колодца встретила. Она воду набирала, и я гляжу, она светится вся. Я говорю: Алька, ты чего такая? Влюбилась, что ли? А она засмеялась и говорит: «Тётя Варя, я замуж выйду. Скоро. Он обещал». Я говорю: кто? А она: «Не скажу. Секрет. Он сам скажет, когда время придёт». И ушла. Динь-динь.

– Кто «он», вы не знаете?

– Не знаю. – Варвара покачала головой. – Думала, может, из дачников кто. Или из Перевалова. Она туда ездила иногда, на автобусе. А может, и местный. Мало ли.

– А потом?

– А потом, в мае, она пропала. – Голос у Варвары дрогнул. – Шестнадцатого мая. Вечером ушла, сказала деду, что к подружке, к Лене Мухиной, уроки делать. А к Лене не пришла. Илья ночью прибежал к Нине, к фельдшеру, к Матрёне, к Голубеву, ко мне. Всю деревню поднял. Искали до утра. С фонарями. По лесу, по полям, по реке. Не нашли. А утром Нина нашла туфлю у омута. Красную. Альку в этих туфлях все видели, она их на последний звонок надевала. Ну и всё.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.